

Дженнифер Доннелли

Северный свет



Дженнифер Доннелли

Северный свет

«Розовый жираф»

2003

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Доннелли Д.

Северный свет / Д. Доннелли — «Розовый жираф», 2003

ISBN 978-5-4370-0324-4

1906 год. Матильде 16 лет, и больше всего на свете она любит читать. Однако ей предстоит провести всю жизнь на ферме в Северных Лесах, хлопотать по хозяйству, стать женой и матерью, заботиться о семье. О другой судьбе нечего и мечтать. Зря учительница говорит, что у Мэтти есть талант и ей нужно уехать в Нью-Йорк, поступить в университет, стать писательницей... Устроившись на лето поработать в отель «Гленмор», Мэтти неожиданно становится хранительницей писем Грейс Браун, загадочно исчезнувшей девушки. Может ли быть, что, размышляя о жизни Грейс, Матильда решится изменить свою?

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-4370-0324-4

© Доннелли Д., 2003
© Розовый жираф, 2003

Содержание

Раздосáдованный	8
Тривиáльный	16
Парадóкс	26
Летаргíческий	30
Обескура́жить	35
Изнурённый	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Дженнифер Доннелли

Северный свет

© 2003 by Jennifer Donnelly

© Канищева Е., Сумм Л., перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство «Розовый жираф», 2021

* * *

*Меган –
выбравшейся из зачарованного леса*

*И пусть реченья многих мудрецов
Зовут к смирению – я не смирюсь.
Мой непокорный дух взметнется ввысь
И вызов бросит звездам в небесах.*

*Аделаида Крэпси
Саранак-Лейк, 1913*

Когда в Северные Леса приходит лето, время замедляется. А в иные дни и вовсе останавливается. Небо, почти весь год серое, нависающее, превращается в голубой океан, безбрежный и такой яркий, что поневоле оставишь любую работу – развешиваешь ли мокрые простыни на веревке или чистишь бушель кукурузы на заднем крыльце – и уставишься ввысь поглазеть на него. Саранча гудит среди берез, маня прочь от солнца, под густые ветви, воздух замирает на жаре – плотный, насыщенный сладким ароматом бальзамного дерева.

Стоя на веранде «Гленмора», лучшего отеля на всем Большом Лосином озере, я говорю себе: сегодня, 12 июля 1906 года, четверг – один из таких дней. Время остановилось, красота и покой идеальных послеполуденных часов не иссякнут никогда. Туристы из Нью-Йорка в белых летних нарядах вечно будут играть на поляне в крокет. И старая миссис Эллис останется на веранде до конца времен, стуча тростью по перилам, требуя еще лимонада. И дети врачей и адвокатов из Ютики, Роума и Сиракьюса так и будут бегать по лесу, смеясь и вопя, опьяневшие от мороженого.

Я верю в это. Всем сердцем. У меня хорошо получается себя обманывать.

Получалось – пока Ада Бушар не вышла из холла и не сунула свою руку в мою. И миссис Моррисон, жена управляющего, тоже вышла и остановилась на верхней ступеньке. В другое время она бы нам уши надрала за то, что стоим без дела, но сейчас будто нас и не замечает. Руки скрещены на груди, глаза серые, тревожные, неотрывно глядят на причал. И на пароход, стоящий у причала.

– Это ведь «Зилфа», да, Мэтти? – шепчет мне Ада. – Они прочесывали озеро, да?

Я сжимаю ее руку.

– Вряд ли. Я так думаю, они только вдоль берега ищут. Стряпуха говорит, наверное, они заблудились, эта парочка. Не нашли в темноте дорогу и переночевали где-то под соснами, только и всего.

– Я боюсь, Мэтти. А ты нет?

Я не отвечаю. Бояться я, пожалуй, не боюсь, но и объяснить, что я чувствую, не сумею. Иногда слова ускользают от меня. Я прочла Международный словарь английского языка Вебстера почти целиком, и все-таки иногда верные слова не идут на ум, когда они так нужны.

Вот сейчас мне бы найти слово, обозначающее то чувство – холодное неприятное ощущение глубоко внутри, которое появляется, когда знаешь: происходит что-то такое, что изменит тебя целиком, и ты этого не хочешь, но ничего не можешь поделать. И ты понимаешь, в первый раз в жизни, в самый первый раз, что отныне появятся *до того* и *после, было и будет*. И еще понимаешь, что впредь будешь уже не совсем такой, какой была.

Должно быть, что-то в таком роде почувствовала Ева, когда надкусила яблоко. Или Гамлет, когда встретился с призраком отца. Или мальчик Иисус, когда кто-то усадил его и сообщил, что его папа – вовсе не плотник Иосиф.

Как же называется это чувство? Когда знание, страх и утрата смешиваются воедино? *Страхомудрость? Ужаснознание? Крушеверие?*

Стоя на открытой веранде под безмятежным небом – а пчелы лениво жужжат среди роз, и кардинал так внятно, так нежно поет на сосне, – я уговариваю себя: Ада – трусишка, она вечно тревожится без нужды. Ничего плохого не может случиться в «Гленморе», особенно в такой славный денек.

А потом я вижу, как от причала бежит, подхватив юбки, Стряпуха, бледная, запыхавшаяся, – и понимаю, что была не- права.

– Мэтти, отопри гостиную! – кричит она, будто не замечая постояльцев. – Живо, беги!

Я словно и не слышу. Уставилась на мистера Крэбба, механика с «Зилфы». Он поднимается по дорожке и несет на руках молодую женщину. Голова ее упала ему на грудь, словно сломанный цветок. С юбки течет вода.

– Ох, Мэтти, погляди! Боже мой, Мэтти, погляди на нее! – твердит Ада и обеими руками дергает и крутит свой передник.

– Тс-с, Ада! Она промокла, только и всего. Они заблудились на озере и... и лодка перевернулась, а они доплыли до берега, и она... должно быть, она в обмороке.

– Господи! – шепчет миссис Моррисон, прижимая руки к губам.

– Мэтти! Ада! Что стоите тут, как две ослицы! – Стряпуха, пыхтя, втаскивает свое тяжелое тело на верхнюю ступеньку. – Открой запасную комнату, Мэтти! Которая за гостиной. Задерни занавески и застели кровать старым покрывалом. Ада, ступай, свари кофе, наделай сэндвичей. В леднике ветчина и немного курятины. Пошевеливайтесь!

В гостиной дети играют в прятки. Я выгоняю их, отпираю дверь в маленькую спальню, где ночуют извозчики и речные капитаны, когда непогода не позволяет им продолжить путь. Спыхватываюсь, что забыла про покрывало, бегу за ним в бельевую, возвращаюсь в комнатку, встряхиваю покрывало и успеваю расстелить его на голом матрасе как раз в тот момент, когда входит мистер Крэбб. Я и подушку принесла, и тяжелое теплое одеяло. Она же до мозга костей промерзла, проспав всю ночь в мокрой одежде.

Мистер Крэбб кладет ее на кровать. Стряпуха выпрямляет ей ноги и подсовывает под голову подушку. Входят Моррисоны. Следом за ними – мистер Сперри, владелец «Гленмора». Глядит на нее, бледнеет и выходит.

– Сейчас принесу грелку, и чай, и... и бренди, – предлагаю я, переводя взгляд со Стряпухи на миссис Моррисон, потом упираюсь взглядом в картину на стене. Куда угодно смотрю, только не на саму девушку. – Сбежать? Принести бренди?

– Тс-с, Мэтти. Ничего не нужно. Поздно, – говорит Стряпуха.

Тогда я заставляю себя посмотреть на девушку. Глаза у нее тусклые, пустые. Кожа сделалась желтой, как мускатное вино. Жуткий порез на лбу, губы в кровоподтеках. Вчера еще она сидела одиноко на веранде, теребила подол юбки. Я принесла стакан лимонада, потому что мне показалось, что на жару ей стало нехорошо. Плату за лимонад я не брала: на вид она была не из богатых.

За моей спиной Стряпуха насаждает на мистера Крэбба:

– А тот мужчина? Чарльз Джером?

– Пропал, и следу нет, – говорит он. – Во всяком случае, пока. Лодку мы нашли. Перевернулись, как пить дать. В Южной бухте.

– Надо связаться с семьей, – говорит миссис Моррисон. – Они в Олбани.

– Нет, оттуда только он, Джером, – уточняет Стряпуха. – А девочка из Южного Оцелика. Я смотрела в гостевой книге.

Миссис Моррисон кивает:

– Позвоню тамошней телефонистке. Пусть свяжет меня с магазином или отелем. Или с кем-то, кто может сообщить семье. Что же я им скажу? Боже, боже! Бедная ее мать! – она прижимает к глазам платок и почти выбегает из комнаты.

– Вечер еще не настанет, как ей придется звонить по второму разу, – предвещает Стряпуха. – По мне, так людям, которые не умеют плавать, нечего и соваться на озеро.

– Слишком самонадеянный, парень этот, – говорит мистер Моррисон. – Я его спросил, управится ли он с ботиком, и он сказал «да». Только чертов дурак-горожанин способен опрокинуть лодку в тихий день...

Он что-то еще говорит, но я не слышу. Словно железными обручами сдавило грудь. Я закрываю глаза и пытаюсь глубоко вдохнуть, но становится только хуже. С закрытыми глазами я вижу пачку писем, перевязанную голубой ленточкой. Письма, которые лежат в комнате наверху, под моим матрасом. Письма, которые я обещала сжечь. Так и вижу адрес на верхнем конверте: «Честеру Джиллету, 17½ Мейн-стрит, Кортленд, Нью-Йорк».

Стряпуха гонит меня прочь от покойницы.

– Мэтти, задерни занавески, как велено! – распоряжается она, потом складывает руки Грейс Браун на груди и опускает ей веки. – В кухне есть кофе. И сэндвичи, – говорит она мужчинам. – Подкрепитесь?

– Лучше с собой возьмем, если не возражаете, миссис Хеннесси, – отвечает мистер Моррисон. – Нам снова в путь. Как только Сперри дозвонится до шерифа. Он и в «Мартин» тоже звонит. Попросит их глядеть в оба. И в «Хигби», и на другие дачи. На случай, если Джером выбрался на берег и заблудился в лесу.

– Его зовут не Чарльз Джером. Честер. Честер Джиллет! – эти слова у меня вырвались сами собой, и я не сумела их остановить.

– Откуда ты знаешь, Мэтти? – спрашивает Стряпуха.

Теперь все смотрят на меня – Стряпуха, мистер Моррисон и мистер Крэбб.

– Я... вроде бы я слышала, она его так называла, – бормочу я, внезапно перепугавшись. Стряпуха подозрительно шурится.

– Ты что-то видела, Мэтти? Что-то знаешь, о чем и нам следует знать?

Что я видела? Слишком много я видела. Что я знаю? Только то, что за знание приходится чертовски дорого платить. Мисс Уилкоккс, моя учительница, столькому научила меня. Почему же об этом никогда не предупреждала?

Раздосáдованный

Самая младшая моя сестра, Бет – ей пять, – когда вырастет, непременно наймется смотрящим на дамбу и будет орать мужчинам, работающим ниже по течению: «Берегись, бревна идут!» Легкие у нее в самый раз для такого занятия.

Было весеннее утро. Конец марта. Меньше четырех месяцев назад, хотя кажется, будто прошло куда больше времени. Мы опаздывали в школу, и следовало кое-что сделать по дому перед уходом, но Бет было наплевать. Она сидела, будто не замечая кукурузную кашу, которую я перед ней поставила, и надрывалась, словно оперная певица из Ютики – они приезжают выступать в отелях. Только вряд ли оперная певица станет петь «Торопись, Гарри». Во всяком случае, я такого не слыхала.

*Торопись, Гарри! Том, Дик, Джо – поспешайте!
Все хватайте ведра, за водой ступайте!
Как средь треска-плеска позовет вас кок,
Так и побегите, чтоб не упустить кусок!
Не упустить свой пиро-о-ог!*

– Бет, умолкни и ешь кашу! – велела я, заплетая ей тем временем косичку.

Бет не послушалась, потому что пела она не ради меня или кого-то из нас. Она пела неподвижному креслу-качалке у плиты и потрепанной рыбной корзине, что висела у двери в пристройку. Пела, чтобы заполнить пустоту в нашем доме, прогнать молчание. Обычно по утрам я не запрещаю ей шуметь, но в то утро я хотела поговорить с папой кое о чем, об очень важном, и места себе не находила от волнения. Мне хотелось, чтобы все прошло мирно в кои-то веки. Хотела, чтобы папа, как войдет, застал все в полном порядке, все хорошо себя ведут, и тогда он тоже настроится на мирный лад и благожелательно примет то, что я собираюсь сказать.

*Патока чернуцая, печенье как песок.
Чай в ведре варился, воняет как носок.
Все бобы протухли, а пирог сырой.
В пасть мечите живо и пошли за мной.
В лес пошли за мно-о-ой!*

Кухонная дверь распахнулась, Лу, средняя из трех моих сестер, одиннадцати лет, протиснулась с ведром молока мимо стола. Измазала пол навозом – поленилась снять башмаки.

Застегивай подтяжки, затягивай шнурки, эгей!

– Бет, ну пожалуйста! – сказала я, вплетая в ее косичку ленту. – Лу, ботинки! Ты ботинки не сняла!

Как размахнемся топором, нам равных нет, эгей!

– Что? Я тебя почти не слышу, Мэгг! – отозвалась Лу. – Да заткнись же ты наконец! – завопила она и шлепнула Бет по губам.

Бет заверещала, принялась извиваться, откинулась на спинку стула. Стул перевернулся, задел принесенное Лу ведро. Молоко по всему полу, Бет в луже молока. Бет ревет, Лу орет,

а я думаю: ох, если б мама была с нами! Я каждый день думала: ох, если бы! По сто раз в день самое меньшее.

Когда мама была жива, она готовила завтрак на семерых, выслушивала наши уроки, латала папе штаны, паковала нам школьный перекус, ставила молоко на простоквашу и замешивала тесто на пирог – все одновременно и не повышая голоса. А я считаю удачным день, когда у меня каша не подгорит, а Лу и Бет не поубивают друг друга.

Вошла четырнадцатилетняя Эбби, принесла в переднике четыре коричневых яйца. Она осторожно положила их в миску в буфете и уставилась на эту сцену.

– Папе только свиней накормить осталось. Он скоро придет, – предупредила она.

– И надерет тебе жопу, Бет, – подхватила Лу.

– Это тебе он надерет за то, что ты сказала «жопа», – огрызнулась Бет, шмыгая носом.

– А ты повторила. Теперь тебе двойная порка.

Лицо Бет сморщилось, и она завывала громче прежнего.

– Хватит! Обе заткнитесь! – закричала я в ужасе, прямо-таки услышав, как ремень свистит по их задницам. – Не будет папа никого пороть! Тащите сюда Барни.

Бет и Лу кинулись к плите и вытянули из-за нее бедного Барни. Старый папин охотничий пес ослеп и охромел. Он мочится на свою подстилку. Дядя Вернон говорит, папе давно пора отвести его за хлев и пристрелить. Папа говорит, сперва он пристрелит дядю Вернона.

Лу подвела Барни к луже. Молока он не видел, но почуял его и принялся жадно лакать. Ему уже сто лет молока не доставалось. Да и нам тоже. Зимой стельные коровы не доились, одна только что отелилась и наконец-то дала немного молока. Скоро будет больше. К концу мая хлев наполнится телятами, и папа будет каждое утро спозаранку уезжать, развозить молоко, сливки и масло по отелям и дачам. Но в то утро это было единственное ведро за долгое время, и папа, конечно, рассчитывал на кашу с молоком.

Барни вылизал почти все. Остаток лужи Эбби подтерла тряпкой. Бет слегка промокла, а линолеум под ее стулом казался чище, чем в других местах кухни, однако я понадеялась, что на это папа не обратит внимания. На доньшке еще оставалось немного молока. Я разбавила его водой и перелила в кувшин возле папиной тарелки. К ужину папа, наверное, захочет вкусную молочную подливу, а то и заварной крем, раз куры дали четыре яйца, но об этом я подумаю позже.

– Папа догадается, – опередила мои мысли Лу.

– Как? Барни ему скажет?

– Когда Барни пьет молоко, он пердит потом ужас как.

– Лу, хоть ты одеваешься как мальчик и походка у тебя мальчишеская, постарайся хотя бы не выражаться как парни. Маме бы это не понравилось, – сказала я.

– Мамы с нами больше нет, так что выражаться буду как хочу.

Эбби, полоскавшая под краном тряпку, резко обернулась.

– Прекрати, Лу! – крикнула она, удивив нас всех: Эбби никогда не кричит. Она даже не плакала на маминых похоронах, хотя три дня спустя я застала ее в папиной спальне, она стискивала в руке мамину фотографию с такой силой, что острый край рамки порезал ей ладонь. Наша Эбби – цветное муслиновое платье, которое постирали и вывернули наизнанку сохнуть: все узоры скрыты. Наша Лу – в точности наоборот.

Пока эти две ругались, в пристройке за кухней послышались шаги. Ссора тут же затихла. Мы думали, это папа. Но тут раздался стук, шарканье, и мы поняли: это всего лишь Томми Хаббард, соседский паренек, голодный, как всегда.

– Том, ты чешешься? – спросила я.

– Нет, Мэгг.

– Тогда садись завтракать. Помой сперва руки.

В прошлый раз, когда я впустила его в дом, чтобы накормить, он одарил нас блохами. У Томми шестеро братьев и сестер. Они живут на Ункас-роуд, как и мы, но подальше, в убогом дощатом домишке. Их участок вклинивается с дороги между нашим и землей Лумисов. У них нет папы, или у них множество пап – смотря кого послушать. Мать Томми, Эмми, делает все, что в ее силах: убирает комнаты в отелях, продает туристам свои маленькие картинки, – но этого не хватает. Дети всегда голодны. В доме холодно. Налоги давно не плачены.

Томми вошел, ведя за руку одну из сестричек. Я глянула на них с тревогой. Папа еще не завтракал, а в горшке оставалось немного.

– Я тока Дженни привел, – поспешно сказал Томми. – Сам-то сытый, вот так вот.

Дженни была закутана в мужскую шерстяную рубашу поверх тонкого хлопчатого платья. Подол рубахи касался пола, зато платье едва доставало ей до колен. А на Томми вовсе не было верхней одежды.

– Все в порядке, Томми, еды полно.

– Пусть мою порцию берет! Видеть не могу эту гадостную слизь! – Лу толкнула свою миску через стол. Ее доброта выбирает кружной путь.

– Слышал бы папа! – буркнула Эбби. – Язык у тебя как у плотогона.

Лу высунула язык с остатками каши. Эбби, кажется, готова была ее стукнуть. Хорошо, что между ними был стол.

Кукурузная каша надоела всем – и мне тоже. Мы ели ее с кленовым сахаром на завтрак и на обед много недель подряд. А на ужин – гречишные оладьи с печеными яблоками, последними из осеннего урожая. Или гороховый суп на старой свиной кости, вываренной добела. Мы бы порадовались рагу из солонины или пирогу с курятиной, но почти все, что мы заложили в погреб в сентябре, кончилось. Остатки оленины доели в январе. Ветчину и бекон тоже. И хотя мы заготовили целых две бочки свинины, одна из них протухла. По моей вине: папа сказал, я слишком слабый рассол сделала. Осенью мы зарезали одного из петухов, а с тех пор – четырех кур. Осталось только десять, и папа не велел их трогать, ведь они дают нам яйца, хоть и не много, а летом и яиц будет больше, и выведутся цыплята.

Все шло по-другому, когда мама была жива. Как-то ей удавалось вкусно кормить нас всю зиму, и даже весной в погребе еще хватало мяса. Мне до мамы ох как далеко, и Лу не дает мне об этом забыть, да и папа тоже: он, конечно, такого не говорит, как Лу, но по его лицу, когда он садится за стол, сразу видно: он вовсе не любитель каждодневной каши.

Зато Дженни Хаббард против каши нисколько не возражала. Ждала терпеливо, глаза большие, серьезные, пока я посыпала кленовым сахаром то, что Лу оставила в миске. Миску я протянула Дженни, Томми положила немного из горшка. Ровно столько, чтобы папе осталось вдоволь.

Эбби отхлебнула глоток чая, потом глянула на меня поверх ободка чашки.

– Ты еще не говорила с папой?

Я покачала головой. Я стояла за спиной Лу, пытаюсь расчесать ее волосы. Кос из них не заплетешь, кончики едва доставали ей до подбородка. Лу отхватила себе волосы мамиными портновскими ножницами после Рождества – после того как наш брат Лоутон ушел из дома.

– А собираешься поговорить? – настаивала Эбби.

– Поговорить о чем? – спросила Бет.

– Не твое дело. Доедай, – велела я.

– О чем, Мэтт? О чем поговорить?

– Бет, если бы Мэтти хотела, она бы тебе сказала, – вмешалась Лу.

– Тебе она тоже не говорила.

– Еще как говорила.

– Мэтти, почему ты Лу сказала, а мне нет? – заныла Бет.

– Потому что ты сума дырявая, в тебя что ни поклади – сразу разболтаешь.

Новый раунд препирательств. Нервы у меня уже стерлись налысо.

– *Положи*, Лу, а не *поклади*, – сказала я. – Бет, перестань нюнить!

– Мэтт, ты уже выбрала слово дня? – сменила тему Эбби. Наш миротворец. Тихая, ласковая. Больше всех нас похожа на маму.

– Ой, Мэтти! Можно я выберу? Можно я? – заверещала Бет.

Она сползла со стула и побежала в гостиную. Там, от греха подальше, я хранила свой драгоценный словарь – вместе с книгами, которые брала у Чарли Экклера и мисс Уилкокс, с маминими «Любимыми томами американской классики» (издание Уэверли) и несколькими старыми номерами «Журнала Петерсона», которые подарила нам тетя Джози, потому что, как сказано в колонке редактора, это «одно из немногих изданий, пригодных для семей, где растут дочери».

– Бет, словарь несешь ты, а слово пусть выбирает Лу! – крикнула я вслед.

– Не ложи мне под нос свой словарь, я в детских играх не участвую! – фыркнула Лу.

– *Не клади*, Лу! *Не клади!* – рявкнула я. Небрежное обращение Лу со словами злит меня больше, чем ее грязный язык, замурзанный комбинезон и притащенный в дом навоз вместе взятые.

Бет вернулась к столу, неся словарь так бережно, словно он из чистого золота. Да и весит он как золотой.

– Выбери слово, – предложила я. – Лу не хочет.

Бет осторожно пролистала несколько страниц вперед, потом назад, потом ткнула указательным пальцем в строку на левой странице разворота:

– Раз... Раз-два... Раз-два-садовый? – спросила она.

– Такого слова, мне кажется, нет. Скажи по слогам, – попросила я.

– Раз-до-са-дб-ван-ный.

– Раздосадованный, – поправила я. – Томми, что это значит?

Томми заглянул в словарь:

– Огорченный, раздраженный, готовый всп... вспыхнуть гневом, – зачитал он. – Недовольный, сердитый. Злой.

– Замечательное слово, правда? – сказала я. – Раздосадованный, – повторила я, с удовольствием чувствуя, как рычит в самом его начале «р». Новое слово. Полное неисследованных возможностей. Безупречная жемчужина, которую можно так и этак покатавать на ладони, а потом спрятать и хранить. – Твоя очередь, Дженни. Составишь предложение с этим словом?

Дженни прикусила губу:

– Оно значит «сердитый»? – спросила она.

Я кивнула.

Дженни нахмурилась, соображая, и сказала:

– Мама была раздосадованная и бросила в меня сковородкой, потому что я сшибла ее бутылку с виски.

– Она бросила в тебя сковородкой? – вытаращила глаза Бет. – Зачем она так сделала?

– Потому что была не в духе, – пояснила Эбби.

– Потому что напилась, – уточнила Дженни, слизывая кашу с ложки.

Дженни Хаббард всего шесть, но в Северных Лесах сезон роста короткий: детям, как кукурузе, лучше поторопиться, иначе могут не вырасти вовсе.

– Твоя мама пьет виски? – спросила Бет. – Мамы не должны пить виски.

– Пошли, Бет, а то опоздаем, – сказала Эбби и потянула ее за руку.

– Ты идешь, Мэтти? – спросила Бет.

– Чуть позже.

Книги собраны. Корзинки с ланчем тоже. Эбби прикрикнула на Лу и Бет, чтобы те скорее надевали пальто. Томми и Дженни доедали в молчании. Дверь захлопнулась. Наступила тишина. Впервые за утро. И тут:

- Мэтт?! Выйди на минуту ко мне.
- Что случилось, Лу? У меня дел по горло.
- Иди сюда!

Я выглянула в хозяйственную пристройку. Лу стояла на пороге, в руках удочка Лоутона.

- Лу, что ты задумала?

– Не могу больше кашу трескать, – сказала она. Ухватила меня за ухо, притянула мое лицо к своему и поцеловала в щеку. Быстро, резко, крепко. Я почуяла ее запах – древесного дыма, коров и живицы – хвойной смолы, которую она вечно жевала. Дверь снова хлопнула – и Лу как не бывало.

Другие сестры, как и я, уродились в мать. Карие глаза, темные волосы. Лу удалась в папу. И Лоутон тоже. Угольно-черные волосы, голубые глаза. Лу и ведет себя как папа: все время злится. С тех пор как умерла мама. И с тех пор как Лоутон ушел из дома.

Когда я вернулась в кухню, Томми выскребывал ложкой свою миску с такой силой, что чуть краску не содрал. Я-то, пока с ними возилась, свою кашу лишь поковыряла.

– Доедай мою, Том, – предложила я, пододвигая к нему миску. – Я не голодна, а чтоб пропадала зря – жалко.

Я заткнула раковину, влила в нее из чайника горячую воду, разбавила холодной из крана и принялась мыть посуду.

- Где остальные твои братья-сестры?
- Сюзи и Билли пошли к Уиверу. Миртон и Клара ищут работу в отеле.
- А малыш? – спросила я.
- Сюзи с собой прихватила.
- Мама плохо себя чувствует сегодня?
- Не соглашается вылезать с-под кровати. Говорит, боится ветра и больше не может его слышать. – Томми поглядел в миску, потом на меня. – Как думаешь, Мэтт, она рехнулась? Думаешь, совет ее заберет?

Эмми Хаббард, конечно же, сумасшедшая, и я была почти уверена, что рано или поздно совет округа и вправду ее заберет. Раз или два ее уже пытались забрать. Но я не могла сказать такое Томми. Ему всего двенадцать лет. Пока я соображала, как же ответить – как найти слова, которые не были бы ложью, но и чистой правдой тоже не были бы, – я подумала, что настоящее безумие совсем не такое, как в книгах. Это не мисс Хэвишем, которая сидит в своей полуразвалившейся усадьбе, величественная и злобная. И не как в «Джейн Эйр», где жена Рочестера неистовствует в мансарде, вопит и бьется в припадке, пугая прислугу. Когда человека покидает рассудок, остаются не старинные замки, паутина и серебряные подсвечники, а грязные простыни, прокисшее молоко и собачье дерьмо на полу. Остается Эмми, которая прячется под кроватью, плачет там и поет, пока ее дети пытаются сварить суп из семенного картофеля.

- Знаешь, Том, – сказала я наконец, – иногда я и сама рада бы залезть под кровать.
- Когда такое было, Мэтт? Не представляю, чтобы ты заползла под кровать.
- В конце февраля. За два дня намело четыре фута, помнишь? Сверх трех, что уже были.

Надуло на крыльцо, дверь не открывалась. В пристройку тоже попасть не могли. Папе пришлось протиснуться в кухонное окно. Ветер завывал, и мне хотелось только забиться куда-нибудь и больше не вылезать. Так почти с каждым бывает время от времени. Твоя мама просто ведет себя так, как ей хочется. Вот и вся разница. Я зайду к ней перед школой. Может, у меня найдется банка яблочного пюре и немного кленового сахара. Как ты думаешь, ей понравится?

- Конечно, понравится! Она будет рада. Спасибо, Мэтти!

Я отправила Томми и Дженни в школу. Хоть бы к тому времени, как я доберусь до Хаббардов, мама Уивера была уже там. Она куда лучше умеет выманить Эмми из-под кровати, чем я. Я домыла посуду, поглядывая при этом в окно, высматривая среди голых деревьев и коричневых полей рядом с залысинами снега желтые всполохи: если в апреле появится жовник, скоро уже и весна. Мне так надоели холод и снег, а теперь дождь и слякоть.

Это время года – когда в погребке почти пусто, а огород еще не засеян – у нас зовут «шесть тощих недель». В прежние годы к марту у нас всегда появлялись деньги, чтобы купить мясо, и муку, и картошку, и все, что могло понадобиться. В конце ноября папа отправлялся возить лес на реку Индиан или озеро Рэкетт. Уезжал сразу после уборки сена и проводил там всю зиму – вывозил стволы, которые лесорубы спилили за лето. Он управлял лошадьми, запряженными в специальные низкие плоские сани с широкими полозьями. Бревен наваливали в два человеческих роста. Папа вывозил лес с гор по обледеневшим дорогам, полагаясь на вес бревен и собственное умение: если бы сани сорвались и полетели под гору, убили бы и лошадей, и всех встречных.

Наступал март, снег таял, дороги расквашивались, уже невозможно было протащить по ним тяжелый груз. Ближе к концу месяца мы ждали папу со дня на день. Когда в точности он вернется, мы не знали. И как вернется: в чем-нибудь фургоне, если повезет с попутчиками. Или пешком, если не повезет. Часто мы слышали его прежде, чем видели – он распевал новую песенку, выученную вдали от дома.

Мы, девочки, все бежали к нему опретью. Лоутон – тот шагал степенно. Мама изо всех сил заставляла себя стоять на крыльце, блюсти достоинство, но не выдерживала. Он улыбался ей, и она бросалась ему навстречу, плакала от счастья, что он вернулся домой, что руки-ноги у него целы и все пальцы на месте. Он обхватывал ладонями ее лицо, отодвигал от себя, вытирал грязным пальцем слезы с ее щек. Мы все хотели потрогать его, обнять, но папа не разрешал. «Не подходите, по мне так и ползают», – предупреждал он. За домом он снимал с себя одежду, поливал ее керосином и сжигал. И голову тоже поливал керосином, и Лоутон вычесывал из его волос мертвых вшей.

Мама тем временем кипятила воду, наливала в длинное и глубокое жестяное корыто. И папа посреди кухни принимал ванну, первую за долгие месяцы. Когда он отмывался дочиста, мы устраивали пир. Толстые шматы ветчины, обжаренные с подливкой. Истекающая маслом гора картофельного пюре. Бобы и кукуруза, сколько их еще оставалось. Горячие, мягкие булочки. На сладкое черничный пирог, для него специально хранили ягоды. А потом – подарки, каждому из нас. В лесу нет магазинов, но странствующие торговцы объезжают лагерь, специально подстраиваясь под день расчета. Лоутону – перочинный нож, а нам, девочкам, ленты и городские сласти. Маме – дюжина стеклянных пуговиц и отрез материи на новое платье. Сатин – в точности как яйцо малиновки. Шотландка цвета ириски. Изумрудный вельвет или пронзительно-желтая чесуча. А однажды папа принес плотную шелковую ткань оттенка спелой клюквы. Мама приложила ткань к щеке, не отрывая взгляда от папы, а потом спрятала отрез и долго не вынимала, все никак не решалась раскроить. Мы сидели ночь напролет в гостиной, грелись у печки, поедали привезенные папой карамельки и шоколад, слушали его истории. Он показывал нам свои новые шрамы и рассказывал о проделках оголтелых лесорубов, и какой скверный у них был начальник, и какая отвратительная еда, и как они подшучивали над поварихой и над бедным пареньком-помощником. Вечер, когда папа возвращался из леса, был прекраснее, чем Рождество.

Но в этом году папа не был в лесу. Не хотел оставлять нас одних. А без денег за возку бревен нам пришлось нелегко. Зимой папа рубил лед на Четвертом озере, но там платили намного меньше, и весь его заработок пошел на налог за нашу землю. Перетирая тарелки, я подбадривала себя: именно потому, что мы вконец разорены и, пока папа не начнет снова продавать

молоко и масло, нам не видать ни цента, – именно потому ему придется прислушаться к моим словам и ответить согласием.

Наконец я услышала, как он прошел через пристройку, и вот он уже в кухне, а на руках у него маленький сопящий сверток.

– Чертова свинья сожрала четверых поросят, – сказал он. – Всех, кроме последыша. Суну его к Барни, ему лучше побыть в тепле. Господи, ну и воняет же этот пес. Что он такое съел?

– Наверное, влез во что-то во дворе. Вот, папа. – Я поставила перед ним тарелку с кашей, размешала в ней кленовый сахар. Сверху налила разбавленное молоко (только бы папа не попросил добавки!).

Он сел, лоб в грозных морщинах: конечно, думал о деньгах, которые мог бы заработать, если бы поросята остались живы.

– Обошлась твоей маме в целый доллар эта книга, даже не новая, – сказал он, кивком указывая на словарь, все еще раскрытый на столе. – На себя никогда и цента не тратила и вдруг выбрасывает целый доллар на это вот. Убери отсюда, пока жиром не измазала.

Я отнесла словарь в гостиную, потом налила папе горячего чая. Черного и сладкого, в точности как он любит. Сама села напротив, огляделась. Красно-белые клетчатые занавески пора стирать. Картинки, вырезанные мамой из рекламных календарей с беккеровской фермы и приклепанные к стенам, потускнели. На полке над раковиной – щербатые тарелки да пожелтевшие миски. Линолеум потрескался, плита закоптилась. Барни облизывал поросенка. Я посмотрела на все, что тут было, даже дважды посмотрела, пока мысленно подбирала слова. Только собралась с духом и открыла рот, как папа опередил меня:

– Завтра будем варить сахар. Сок рекой течет, уже за сотню галлонов набралось. Упустим – пропадет. Завтра останешься дома и поможешь мне кипятить. И сестры твои тоже.

– Папа, я не могу. Я отстану, если хоть один день пропущу, а экзамены уже скоро.

– Коров наукой не накормишь, Мэтти. Нужно покупать сено. То, что я накопил осенью, кончается. Фред Беккер не торгует в кредит: чтобы купить сено, надо продать сироп.

Я попыталась еще спорить, но папа лишь глянул на меня поверх миски с кашей, и я вовремя умолкла. Он утер рот рукавом.

– Тебе еще повезло, что в этом году ходишь в школу, – сказал он. – Только потому, что твоей маме было важно, чтобы ты получила свой аттестат, – он выговорил на французский манер *аттестá*, акцент всегда появлялся у него, когда он сердился. – На следующий год ты учиться не будешь, я не могу все делать по хозяйству сам.

Я смотрела в стол. Я злилась на папу за то, что он удерживает меня дома, пусть даже всего на один день, но я знала, он прав: невозможно управиться с шестидесятиакровой фермой в одиночку. Вот если бы все еще длилась зима, когда не пашут и не сеют, и долгими вечерами только и дела, что читать и писать в толстой тетради, и папа не против... *Раздосадованный*, подумала я. *Злой, недовольный, сердитый*. Все эти определения подходили папе. Нечего было и пытаться смягчить его сладким чаем. С тем же успехом я могла бы поить чаем скалу. Я сделала глубокий вдох и ринулась в бой.

– Пап, я хочу тебя кое о чем попросить, – сказала я, и надежда, как я ни старалась ее утаить, вновь заиграла во мне, точно сок в молодых кленах.

– Хм? – он изогнул бровь, не отрываясь от еды.

– Можно мне летом устроиться на работу в отель? Например, в «Гленмор»? Эбби уже большая, сможет готовить и за всем присматривать. Я ее спросила, и она сказала, что согласна, и я подумала, что тогда я...

– Нет.

– Но папа!

– Тебе нет надобности искать работу. Ее *вдоволь*, – он вновь заговорил с французским акцентом, – прямо здесь.

Я знала, что он скажет «нет». К чему было спрашивать? Я уставилась на свои руки – красные, морщинистые старушечьи руки – и увидела то, что меня ожидало: батрачить лето напролет, не получая ни цента. Готовить, убирать, стирать, шить, кормить кур, запаривать поило свиньям, доить коров, сбивать сметану, присаливать масло, варить мыло, пахать, сеять, мотыжить, полоть, собирать урожай, косить сено, обмолачивать, закатывать консервы – делать все, что выпадает на долю старшей из четырех сестер, у которых мама умерла, а никчемный братец удрал водить буксиры по Эри-каналу и отказывается вернуться домой и работать на ферме, как должно.

Я слишком сильно мечтала об этой работе – и слишком расхрабрилась, не к добру.

– Пап, там хорошо платят, – сказала я. – Я бы оставляла немного денег себе, а остальное отдавала тебе. Нам ведь нужны деньги.

– Ты не можешь жить в отеле сама по себе. Так не годится.

– Но я же не буду там одна! Ада Бушар, и Фрэнсис Хилл, и Джейн Майли – все идут в «Гленмор». И Моррисоны, управляющие, очень приличные люди. Ральф Симмс тоже там будет. И Майк Бушар. И Уивер.

– Уивер Смит – тоже мне, рекомендация!

– Ну пожалуйста, папа... – прошептала я.

– Нет, Мэтти. И хватит про это. В туристических отелях всякий люд ошивается.

«Всякий люд» – в смысле, мужчины. Папа то и дело предостерегал меня насчет лесорубов, трапперов, проводников и землемеров. Насчет туристов из Нью-Йорка и Монреаля. Актеров из театральных трупп Ютики, циркачей из Олбани и бродячих проповедников, которые всегда идут за ними вслед. «Мужчинам от тебя только одно и надобно, Матильда», – твердил он мне. Однажды я спросила: «Что именно?» и получила затрещину, а к ней предостережение «не умничать».

На самом деле, беда не в чужаках. Это лишь предлог. Папа знал всех управляющих отелями, знал, что по большей части это вполне пристойные места. Вся беда в том, что он не мог отпустить еще кого-то из нас. Я хотела было поспорить, воззвать к здравому смыслу. Но папа крепко сжал челюсти, желвак прыгал у него на скуле. Этот желвак нередко вот так скакал из-за Лоутона, и в последний раз, когда это случилось, папа замахнулся на него багром, которым придерживает бревна, и Лоутон сбежал из дому, и потом мы несколько месяцев о нем ничего не знали. Пока не пришла открытка из Олбани.

Я молча домыла тарелки и ушла к Хаббардам. Еле волокла ноги, словно две глыбы льда. Я так хотела заработать немного денег. Отчаянно хотела. У меня был план. Да, больше мечта, чем план, и «Гленмор» составлял лишь часть этой мечты. Но теперь я утратила надежду. Раз уж папа не отпустил меня в «Гленмор» – а это всего несколько миль от дома, – что он скажет, когда речь пойдет о Нью-Йорке?

Тривиальный

Если у весны есть особый вкус, то это вкус молодого папоротника. Зеленого, хрусткого, новенького. Минерального, как грязь, из которой он растет. Яркого, словно солнце, которое пробуждает его к жизни. Предполагалось, что я вместе с Уивером собираю папоротник. Мы должны были наполнить две корзины, одну разделить между собой, а другую продать повару в отеле «Игл-Бэй», но я чересчур увлеченно поедала молодые ростки. Не могла удержаться. Наконец-то свежая зелень после долгих месяцев на старой картошке и бобах из банки.

– Быбефи, – пробурчала я с полным ртом. – Бобо. Быбефи фово.

– У маминой свиньи и то манеры лучше. Ты бы для начала проглотила, – посоветовал Уивер.

Я так и сделала. Только сначала прожевала еще кусок, и облизала губы, и закатила глаза, улыбаясь от уха до уха. Уж больно он вкусный, папоротник. Папа и Эбби предпочитают обжа- рить его в сливочном масле с солью и перцем, а я больше всего люблю вот так, прямо из земли.

– Выбери слово, Уивер, – сказала я наконец. – Победитель читает, проигравший соби- рает.

– Опять дурачитесь? – спросила Минни. Она сидела на камне, тут же, рядом с нами. Она ждала ребенка и стала очень толстой и ворчливой.

– Мы не дурачимся, миссис Компё, мы сражаемся на дуэли, – отвечивал Уивер. – Это дело серьезное, и мы просим секундантов соблюдать молчание.

– Тогда дайте мне корзину. Помираю с голоду.

– Нет. Ты слопашь все, что мы собрали, – сказал Уивер.

Она умоляюще поглядела на меня.

– Ну пожалуйста, Мэтти! – проныла она.

Я покачала головой.

– Доктор Уоллес велел тебе двигаться, Мин. Сказал, это пойдет тебе на пользу. Слезай с камня и собирай сама.

– Мэтт, я уже достаточно двигалась. Шла сюда всю дорогу от озера. Я устала...

– Минни, мы готовимся к дуэли. Будь добра, не мешай, – Уивер надулся.

Минни вздохнула, что-то пробурчала. Оторвалась от своего камня, села на корточки посреди папоротника и принялась его проворно срывать. Она поедала его очень быстро, гор- стями запихивая в рот. Глядя на нее, я вдруг подумала: подойди я к ней ближе, она, чего доброго, и зарычит. Раньше Минни папоротник не любила, но это до того, как забеременела и стала трескаться все, до чего могла дотянуться. Она мне говорила, что как-то раз, когда никто не видел, облизала кусок угля. А еще сосала гвоздь.

Уивер открыл книгу, которую принес с собой. Взгляд его остановился на подходящем слове.

– *Неправедный*, – сказал он и захлопнул книгу.

Мы встали спина к спине, каждый согнул большой палец правой руки и выставил вперед указательный – как будто пистолет.

– Насмерть, мисс Гоки, – торжественно произнес он.

– Насмерть, мистер Смит.

– Командуй, Минни.

– Не стану. Глупости.

– Ну же. Просто скамандуй.

– Читайте шаги, – буркнула она.

Мы двинулись каждый в свою сторону, считая шаги. На счете «десять» мы повернулись.

– Целься, – зевнула Минни.

– Мы тут стреляемся насмерть, Минни. Прояви хоть немного уважения.

Минни закатила глаза и заорала:

– Целься!

Мы прицелились.

– Огонь!

– Дурной! – крикнул Уивер.

– Аморальный! – крикнула я.

– Греховный!

– Преступный!

– Нечестивый!

– Несправедливый!

– Непорядочный!

– Бесчестный!

– Душевердный!

– *Душевердный?* Ну ты даешь, Уивер! Погоди, погоди, я сейчас...

– Поздно, Мэтт. Ты труп, – вмешалась Минни.

Уивер ухмыльнулся и сдул воображаемый дым с кончика пальца.

– Давай, собирай, – сказал он. Свернул куртку, подсунул ее себе под спину, длинные, как у кузнечика, ноги, подвернул под себя и раскрыл «Графа Монте-Кристо». И одну-то корзину без помощи набрать трудно, а уж две! И на Минни рассчитывать не стоит, она уже поплелась обратно к своему камню. Мне бы следовало остеречься и не бросать вызов Уиверу – он всегда побеждал в дуэлях на словах.

Сбор молодого папоротника – лишь один из множества способов заработать. Когда папоротника не было, мы собирали дикорастущую землянику или живицу – жевательную смолу. Там выходило десять центов – дайм, тут – целый четвертак, квотер. Двадцать пять центов казались мне богатством, пока пределом мечтаний был кулек шоколадных конфет или палочка лакрицы, но теперь все изменилось. Мне требовались деньги – много денег. Жизнь в Нью-Йорке, по слухам, недешева. В ноябре я заполучила одним махом пять долларов; еще доллар девяносто – и хватило бы на билет до Центрального вокзала. Мисс Уилкокс тогда послала мое стихотворение на конкурс, объявленный «Обозревателем Ютики». Мое имя попало в газету, и стихотворение тоже, и я выиграла пять долларов.

Надолго они у меня, правда, не задержались: нужно было заплатить за мамино надгробие.

– «Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля “Фараон”, идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновал замок Иф»¹, – начал читать Уивер.

Пока он читал, я тыкала палкой в мокрые гнилые листья, разыскивая крошечные зеленые ростки, которые пробиваются к свету, изгибаясь, словно завиток скрипки. Они прорастают во влажных и тенистых местах. Хотя поначалу ростки совсем маленькие, силенок им хватает. Сама видела, как, протыкая землю, они сдвигали с места тяжеленные валуны. Эта полянка прячется на заросшем тополями и соснами холме в четверти мили к западу от дома Уивера. Никто не знает об этом месте, кроме нас. Папоротника здесь хватит на две корзины сегодня и две завтра. Мы никогда не собираем все ростки подчистую. Оставляем расти и осемять.

Я заполнила первую корзину примерно на треть, пока приключения моряков Дантеса и Данглара не поглотили меня целиком, а тогда, как со мной обычно случается при чтении захватывающей истории, я словно перестала быть собой и забыла про корзины, папоротник, деньги, забыла обо всем на свете, кроме слов.

¹ Здесь и далее перевод Л. Олавской, В. Строева.

– «Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за Дантесом, который...» – читал Уивер. – Эй! Давай, собирай, Мэтти! Мэтт, ты меня слышишь?

– А? – я застыла с корзиной у ног, вслушиваясь в слова, которые постепенно превращались в предложения, а предложения в страницы, а страницы становились чувствами и головами, странами и людьми.

– Собирай папоротник, а не стой тут как пришибленная.

– Ладно, – вздохнула я.

Уивер закрыл книгу.

– Лучше я тебе помогу, иначе мы никогда не закончим. Дай мне руку.

Ухватившись за мою руку, он поднялся, чуть не перекувырнув при этом меня. Мы с Уивером Смитом знакомы уже десять лет, даже больше. Он мой лучший друг. Он и Минни. И все-таки я каждый раз невольно улыбаюсь, когда мы беремся за руки. У меня кожа такая бледная, чуть ли не прозрачная, а у него – темная, как табачный лист. Но на самом деле у нас с ним больше общего, чем отличий. Ладони у него розовые, как и у меня. Глаза карие, как и у меня. И внутри он такой же, как я. Он тоже любит слова и всем другим делам предпочитает чтение.

Уивер – единственный чернокожий мальчик в Игл-Бэе. А также в Инлете, на Большом Лосином озере и на Большой Лосиной станции, в Минноубруке, Клируотере, Мулине, Маккивере и Олд-Фордже. Может быть, он один такой на весь округ Северные Леса. Другого я никогда не встречала. Несколько лет назад чернокожие мужчины нанялись строить железную дорогу мистера Уэбба, которая протянулась от Мохока до Мэлоуна и дальше до самого Монреала. Они поселились в отеле Бакли на Большой Лосиной станции, в нескольких милях к западу от Большого Лосиного озера, и уехали сразу, как только уложили последнюю шпалу. Один из них говорил моему отцу, что Бауэри, самый опасный район в Нью-Йорке, ничто по сравнению с Большой Лосиной станцией под вечер в субботу. Он говорил, что мошкa его не прикончила, и виски Джерри Бакли, и задиристые лесорубы, но готовка миссис Бакли его прикончит точно. Вот он и удрал, пока этого не случилось.

Уивер с мамой переехали сюда из Миссисипи после того, как папу Уивера убили прямо у них на глазах трое белых мужчин всего лишь за то, что он не сошел с тротуара, не уступил им дорогу. Мама Уивера решила: чем дальше на север они переберутся, тем лучше. «От жары белые люди звереют», – сказала она Уиверу, и, услышав про Большие Северные Леса, где, конечно же, прохладно и безопасно, она решила, что они будут жить именно тут. Они поселились примерно в миле от нас по Ункас-роуд, чуть южнее Хаббардов, в старой бревенчатой хижине, которую кто-то бросил за много лет до того.

Мама Уивера брала стирку. У нее было много работы в отелях и в лагерях лесорубов. Летом она стирала скатерти и постельное белье, а осенью, зимой и весной – шерстяные рубашки, и штаны, и длинные кальсоны, которые мужчины носят месяцами. Мама Уивера кипятила их в огромном железном котле у себя на заднем дворе. И самих лесорубов отстирывала – велела залезать в жестяную ванну и отскребаться, пока не порозовеет кожа, и только тогда возвращала им чистую одежду. Когда к ней разом являлась целая команда, лучше было не стоять с подветренной стороны. «Опять мама Уивера готовит суп из подштанников», – говаривал Лоутон.

А еще она разводила кур – много дюжин. В теплые месяцы она каждый вечер жарила по четыре-пять кур, пекла пироги и наутро везла эту снедь на телеге к станции Игл-Бэй. Машинист, проводники и голодные туристы раскупали все. Заработанное, каждый цент, она складывала в старый ящик из-под сигар, который хранила под кроватью. Все эти труды были для того, чтобы отправить Уивера в университет. В Колумбийский университет, город Нью-Йорк. Мисс Уилкокс, наша учительница, посоветовала ему подать заявление. Уиверу была обещана стипендия, и он собирался изучать историю и политику, а потом поступить в высшую юридиче-

скую школу. Он первым в своей семье родился свободным. Его деда и бабушки были рабами, и даже его родители родились в рабстве, но президент Линкольн освободил их, когда они были еще маленькими.

Уивер говорит, свобода – как мазь Слоуна: обещает больше, чем дает на самом деле. Говорит, эта свобода – всего лишь возможность выбирать из худших работ в лагерях лесорубов, отелях и на кожевенных фабриках. Пока его народ не сможет работать всюду, где работают белые, и свободно выражать свои мысли, и писать книги, и чтобы эти книги издавались; пока белых не будут наказывать за то, что они вешают черных, – ни один чернокожий не будет свободен по-настоящему.

Иногда я боялась за Уивера. У нас в Северных Лесах хватает таких же громил, как и в Миссисипи, – темных, невежественных, только и высматривающих, на кого бы свалить вину за свою никудышную жизнь, – а Уивер никогда не сойдет с тротуара, и шляпу он тоже не снимает. Он бы сцепился с любым, кто обзовет его ниггером, и страха он не знал. «Будешь ползать, поджав хвост, как дворняга, – рассуждал он, – и с тобой обойдутся как с жалкой шавкой. Распрямись во весь рост, как мужчина, – и с тобой обойдутся как с женщиной». Для себя-то Уивер прав, но я порой думала: смогу ли я распрямиться во весь рост, как мужчина, если я – девушка?

– «Граф Монте-Кристо», похоже, отличная книга, да, Мэтти? А мы еще только вторую главу читаем, – сказал Уивер.

– Точно, – ответила я, наклоняясь к дружной поросли папоротника.

– Ты сама еще пишешь свои рассказы? – спросила Минни.

– Нет времени. И бумаги нет. Извела всю тетрадь для сочинений. Зато я много читаю.

И учу слово дня.

– Слова надо пускать в ход, а не коллекционировать. Пользоваться ими, чтобы писать.

Для того и существуют слова, – сказал Уивер.

– Я же тебе говорю: ничего не получается. Ты меня не слушаешь? Да и писать в Игл-Бэе не о чем. Может, в Париже, где жил мистер Дюмас...

– Дю-ма́.

– Что?

– Дюма, не Дюмас. Ты же наполовину француженка.

– Где жил мистер Дюма-а-а, где все эти короли и мушкетеры – там есть о чем писать, но только не здесь, – повторила я слишком резко. – Здесь только варка сахара, и дойка, и готовка, и сбор папоротника, а кто захочет обо всем этом читать?

– Не скрежещи зубами, крокодилица, – сказала Минни.

– Я не скрежещу, – проскрежетала я.

– Те рассказы, что мисс Уилкокс отправила в Нью-Йорк, – не про королей и мушкетеров, – сказал Уивер. – Про отшельника Альву Даннинга и его одинокое Рождество – лучший рассказ, какой я в жизни читал.

– И как старый Сэм Данниган завернул бедняжку племянницу в одеяло, когда она умерла, и держал ее в леднике до весны, чтобы наконец похоронить, – подхватила Минни.

– И как Отис Арнольд застрелил человека, а потом утопился в озере Ника, лишь бы не сдать шерифу, – сказал Уивер.

Я пожала плечами и продолжала разгребать листья.

– А что с «Гленмором»? – спросила Минни.

– Я не иду.

– А Нью-Йорк? Оттуда что-нибудь слышно? – спросил Уивер.

– Нет.

– Мисс Уилкокс получила какое-нибудь письмо? – наседал он.

– Нет.

Уивер тоже немного покопался в земле, потом сказал:

– Ответ придет, Мэтг. Я точно знаю. А пока что не переставай писать. Ничто не может помешать тебе, если ты этого по-настоящему хочешь.

– Легко тебе говорить, Уивер! – взорвалась я. – Твоя мама тебя не трогает. А будь у тебя три сестры, за которыми надо присматривать, и проклятая огромная ферма, где от рассвета до заката – проклятая бесконечная работа? Как тебе? Думаешь, ты продолжал бы писать рассказы?

Я почувствовала, как сжимается горло, и сглотнула два-три раза, чтобы протолкнуть ком. Я очень редко плачу. Папа скор на затрещины и терпеть не может ныть и слез.

Уивер поглядел мне прямо в глаза.

– Не работа мешает тебе, Мэтг. И не нехватка времени. Правда же? У тебя всегда было работы по горло, а времени в обрез. Обещание – вот что тебе мешает. Ей не следовало брать с тебя слово. Она не имела права этого требовать.

Минни умеет остановиться вовремя, но Уивер – никогда. Как овод, будет жужжать и кружить, высматривая уязвимое место, а потом укусит – очень больно.

– Она умирала. Ты бы для своей мамы сделал то же самое, – сказала я, глядя под ноги. Чувствовала, что слезы уже подступают, и не хотела, чтобы он их увидел.

– Бог забрал ее жизнь, а она забрала твою.

– Заткнись, Уивер! Ничегошеньки ты не понимаешь! – крикнула я, и слезы хлынули.

– Язык у тебя без костей, Уивер Смит! – возмутилась Минни. – Что ты наделал! Сейчас же извинись.

– Не за что извиняться. Я сказал правду.

– Мало ли что. Не всякую правду обязательно вслух говорить, – сказала Минни.

Воцарилось молчание, и некоторое время тишина прерывалась только шорохом падающего в корзину папоротника.

Несколько месяцев назад Уивер кое-что сделал – ради меня, как он утверждает, хотя мне казалось, что назло мне. Он подобрал мою тетрадь с сочинениями, которую я забросила за железнодорожные пути, в сторону леса, и отдал ее мисс Уилкоккс.

В эту тетрадь я записывала свои рассказы и стихи. Показывала я их только трем людям: маме, Минни и Уиверу. Мама сказала, что от них ей плакать хочется, а Минни – что они ужасно хороши. Уивер же заявил, что они более чем хороши, и велел мне показать их мисс Пэрриш, которая преподавала у нас до мисс Уилкоккс. Он сказал, она придумает, как ими распорядиться. Может быть, в журнал пошлет.

Я не хотела, он не отставал, и в итоге я послушалась. Не знаю, на что я надеялась. Наверное, на похвалу, самую маленькую. Чтобы меня чуточку приободрили. Но вышло совсем не так. Однажды после уроков мисс Пэрриш отвела меня в сторону. Она сказала, что прочитала рассказы и сочла их мрачными и угрюмыми. Сказала, что литература должна возвышать дух и такой молодой девушке, как я, следует обратить свой ум к более вдохновляющим и жизне-радостным темам, чем одинокие отшельники и мертвые дети.

– Оглядишься по сторонам, Матильда! – сказала она. – Посмотри на деревья, озера и горы. На величие природы. Оно внушает радость и восхищение. Почтение. Преклонение. Красивые мысли и изящные слова.

Я и так оглядывалась по сторонам. Я видела все то, о чем она говорила, и многое другое. Видела, как медвежонок задирает морду под проливным весенним дождем. Видела серебро зимней луны, ослепительно горящей высоко в небе. Видела алую красу сахароносных кле-нов осенью и невыразимую тишину горного озера на рассвете. Все это я знала и любила. Но я видела и темную сторону. Трупы истощенных оленей зимой. Неистовую ярость метели. И мрак, что всегда таится под соснами – даже в самый ясный день.

– Я вовсе не хочу сказать, будто тебе не следует писать, милочка, – продолжала она, – только попробуй найти другие темы. Не столь отталкивающие. Например, пиши о весне. О весне можно написать очень много! О свежих зеленых листиках. О нежных фиалках. О том, как возвращается после зимы малиновка.

Я не ответила. Молча взяла свою тетрадь и ушла, слезы стыда жгли мне глаза. Уивер ждал меня за школой. Он спросил, что сказала мисс Пэрриш, но я не стала рассказывать. Молчала, пока мы не отошли на милю от города, и тогда зашвырнула тетрадь для сочинений в лес. Уивер побежал за ней. Я сказала ему, чтобы оставил лежать, где лежит. Так я решила – избавиться от нее. А Уивер ответил, раз я тетрадь выбросила, она больше не моя. Теперь она принадлежит ему, и он волен поступать с ней как вздумается.

И он, гад зловредный, оставил тетрадь у себя и ждал подходящего случая. Потом мать мисс Пэрриш заболела, и мисс Пэрриш уехала в Бунвилль за ней ухаживать, а школьный совет пригласил на ее место мисс Уилкоккс, которая снимала жилье в «Лачуге Фостера» в Инлете. И тут Уивер отдал мисс Уилкоккс мою тетрадь, даже словом об этом не обмолвившись. А она прочла и сказала, что у меня дар.

– Настоящий дар, Мэтти, – сказала она. – Редкий.

И с тех пор по милости этих двоих, Уивера Смита и мисс Уилкоккс, я стала мечтать о том, о чем мне мечтать вовсе не положено, и то, что они называют словом «дар», кажется мне бременем.

– Мэтти, – нарушил молчание Уивер, не переставая бросать папоротник в корзину.

Я не ответила. Не потрудились выпрямиться и посмотреть на него. Старалась не думать о том, что он мне наговорил.

– Мэтти, какое у тебя сегодня слово дня?

Я отмахнулась.

– Ну же, ответь!

– *Тривиальный*, – пробормотала я.

– Что оно значит?

– Уивер, она не хочет с тобой разговаривать. Никто не хочет с тобой разговаривать.

– Помолчи, Минни.

Он подошел ко мне, забрал мою корзину. Тут уж мне пришлось посмотреть на него. Я увидела, что взглядом он просит прощения, хотя никогда не попросит прощения словами.

– Что оно значит?

– Простой. Элементарный. Примитивный. Упрощенный, дурацкий, тупой.

– Составь предложение.

– Уиверу Смигу пора отказаться от тривиальных потуг изъясняться красноречиво и признать первенство Матильды Гоки в словесных дуэлях.

Уивер улыбнулся. Поставил на землю обе корзины.

– Ничья, – сказал он.

– Что тебе тут понадобилось, Мэтти?

Стряпуха. Напугала меня так, что я чуть из кожи не выпрыгнула.

– Ничего, мэм, – бормочу я, захлопывая дверь в погреб. – Я... я только...

– Мороженое готово?

– Почти готово, мэм.

– Не мэмкай мне! И пока не закончишь, чтоб больше не вставала с этого места.

Стряпуха нервничает. Больше обычного. Да и мы все тоже. И прислуга, и гости. Все нервничают, все грустят. За исключением только старой миссис Эллис, которая впала в ярость и требует вернуть ей деньги, потому что покойница чуть ли не посреди гостиной несовместима с ее планами хорошо провести день.

Я возвращаюсь к мороженице, чувствуя, как тяжело обвисает карман юбки, набитый письмами Грейс Браун. Зачем Стряпухе понадобилось войти в кухню именно сейчас? Еще бы полминуты, и я бы сбежала по ступенькам в погреб, к огромной угольной печи. «Гленмор» – заведение современное, в каждом номере газовый светильник и в кухне газовая плита, но печь, на которой согревается вся вода для отеля, по-прежнему топится углем. Письма тут же вспыхнули бы, и всё, я от них избавлена.

С того самого момента, как Грейс Браун мне их отдала, я отчаянно мечтала поскорее с ними разделаться. Она вручила мне их вчера днем, на веранде, после того как я принесла ей лимонад. Я пожалела ее – видно было, что она плакала. И я знала почему. За ужином она поссорилась со своим воздыхателем. Из-за церкви. Она хотела прогуляться и найти церковь, а он настаивал – взять напрокат лодку.

Сперва она отказалась от питья, сказав, что нечем платить. Но я сказала, что платить не надо, рассудив так: о чем миссис Моррисон не узнает, из-за того не станет переживать. А потом, когда я уже собиралась уйти, Грейс меня остановила. Открыла чемодан своего спутника и вытащила связку писем. Еще несколько вытащила из своей сумочки, развязала ленточку, сложила те и другие письма вместе и снова завязала, и попросила меня их сжечь.

Просьба меня смутила, я даже не нашлась, что ответить. Гостям чего только не взбредет в голову. Потребуют, например, омлет из двух с половиной яиц. Не из двух, не из трех, а ровно из двух с половиной. Кленовый сироп к печеной картошке. Черничные кексы без черники. На ужин форель, но только чтоб не пахла рыбой. Я выполняю все просьбы и держу улыбку, но еще никто не просил меня сжечь письма, и я не представляла себе, как буду объясняться со Стряпухой.

– Мисс, я не могу... – попыталась отговориться я.

Она схватила меня за руку.

– Сожгите их! Пожалуйста! – прошептала она. – Обещайте бросить их в огонь! Их никто не должен увидеть! Пожалуйста!

И она сунула их мне в руку, а глаза у нее стали такие дикие, что я испугалась и поспешно кивнула, соглашаясь.

– Конечно, мисс! Все сделаю. Прямо сейчас и сожгу.

И тут он – Чарльз, или Честер, или как его звать – окликнул ее с лужайки:

– Билли, ты идешь? Я раздобыл лодку.

Я сунула письма в карман и напрочь забыла о них до той минуты, во второй половине дня, когда пошла наверх переменить фартук. Тогда я сунула их под матрас и решила, что не стану пока сжигать: вдруг Грейс Браун передумает и попросит их обратно. С гостями такое бывает. Сердятся, когда приносишь сливочный пудинг, который сами же и заказали, потому что им теперь хочется шоколаду. И если рубашка после стирки жестковата, это опять-таки моя вина, хотя сами просили по сильнее накрахмалить. Я вовсе не хотела, чтобы Грейс Браун пожаловалась на меня миссис Моррисон: зачем я сожгла ее письма, на самом деле она этого не хотела, – но Грейс так и не передумала. И не пожаловалась. А теперь уж не передумает и не пожалуется.

Я побежала наверх за письмами сразу, как только Грейс принесли в отель, и с тех пор все ждала, чтобы Стряпуха отвлеклась. Было уже почти пять часов. Еще час – и накрывать к ужину, тогда не урвать и минутки сбегать в погреб, даже если за мной не будут следить.

Дверь из столовой распаивается, и входит Фрэнни Хилл с пустым подносом на плече.

– Господи! Как это люди ухитряются проголодаться, сидя на задницах и слушая лекцию о замках Франции, – говорит она. – Скучные картинки в волшебном фонаре, и кто-то что-то бубнит.

– Я шесть дюжин пирожков на этот поднос клала. Все подчистую умяли? – спрашивает Стряпуха.

– И выпили два котелка кофе, кувшин лимонада и чая котел. А теперь требуют еще.

– Нервы, – говорит Стряпуха. – Люди слишком много едят, как нервы разгуляются.
– Берегись Номера Шесть, Мэтт. Он опять за свое, – шепчет, проходя мимо меня, Фрэн.
Так мы прозвали мистера Максвелла, который в столовой всегда садится за столик номер шесть в темном углу. Он вечно распускает руки – и не только руки.

Дверь снова с грохотом распаивается. На этот раз Ада.

– Тут человек из Бунвилльской газеты. Миссис Моррисон сказала, чтоб я принесла ему кофе с сэндвичами.

По пятам за ней Уивер.

– Мистер Моррисон велел передать, что сегодня песен у костра не будет, закуски можете не готовить. И поход к озеру Дарта на завтрашнее утро он отменил, так что еду для пикника паковать тоже не надо. Но днем он хочет устроить праздник мороженого для детей. И еще нужны сэндвичи для тех, кто занимается поисками, – к тому времени как они вернутся с озера, ближе к ночи.

Стряпуха утирает лоб тыльной стороной ладони. Ставит воду на огонь и открывает металлическую банку, стоящую на полке у плиты.

– Уивер, я тебе с утра велела принести кофий. Как об стенку горох! – ворчит она.

– Я принесу! – чуть ли не ору я. Большой мешок с кофейными зернами лежит как раз в погребе.

Стряпуха прищуривается.

– Тебя хлебом не корми, дай только в погреб сбегать! Что у тебя на уме?

– Ее там небось Ройал Лумис ждет, – ухмыляется Фрэн.

– Спрятался за бочкой с углем и жаждет по-це-лу-я, – подхватывает Ада.

– Чешет в затылке и гадает, почему свет погасили, – добавляет Уивер.

У меня вспыхивают щеки.

– Сиди где сидишь, сбивай мороженое, – велит Стряпуха. – Уивер, марш за кофеом.

Я приподнимаю крышку мороженицы, заглядываю внутрь. Какое там, ручку еще крутить и крутить. А я вращала ее так долго, что плечо разболелось. Уивер еще раньше приготовил галлон клубничного, а Фрэн – ванильного. В кухне дел всегда по горло, все номера в отеле и все коттеджи заняты постояльцами, а в последние часы, после того как нашли тело, работы еще прибавилось. Миссис Моррисон предупредила нас: завтра приезжает шериф из самого Херкимера. И коронер. А еще репортеры из городских газет, непременно. Стряпуха не могла допустить, чтобы в «Гленморе» кому-то чего-то не хватило. Хлеба и лепешек она напекла столько, что могла бы накормить всю округу, мужчин, женщин и малых детей. А еще дюжину пирогов, шесть многослойных тортов и две кастрюли рисового пудинга.

Уивер ныряет в погреб. И тут я слышу выстрелы с озера – три подряд.

Ада и Фрэн придвигаются ко мне.

– Будь он жив, его бы уже нашли, – произносит Фрэн вслух то, о чем мы все думаем. – Или он сам бы дорогу нашел. Выстрелы далеко разносятся.

– Я посмотрела в гостевой книге, – шепчет Ада. – Фамилии у них разные. Путешествовали вместе, но они, выходит, не муж и жена.

– Наверное, сбежали, чтобы пожениться, – говорю я. – Я прислуживала им за обедом и слышала, как они говорили про церковь.

– Говорили про церковь? – переспрашивает Ада.

– Ага, – подтверждаю я, пытаюсь себя убедить, что спорить – это все равно что говорить. Ну, почти. – Может быть, отец Грейс Браун не одобрял Чарльза Джерома, – пускаюсь я в рассуждения. – Может, у него денег совсем нет. Или ее просватали за другого, а она полюбила Чарльза Джерома. И они убежали в Северные Леса, чтобы обвенчаться...

– ...а до того решили романтически покататься на лодочке, поклясться друг другу в любви посреди озера... – мечтательно подхватывает Ада.

– ...и он наклонился над водой, чтобы сорвать для нее кувшинки... – продолжает Фрэнни.

– ...а лодка перевернулась, и они оба упали в воду, и он пытался спасти ее и не сумел. Она выскользнула из его объятий... – говорю я.

– Ох, как это печально, Мэтти! Так печально и романтично! – вздыхает Ада.

– ...и тогда он тоже утонул. Перестал бороться с волнами, потому что не захотел жить без нее. И теперь они вовеки будут вместе. Несчастные влюбленные, как Ромео и Джульетта, – завершаю я сюжет.

– Вовеки вместе... – эхом отзывается Фрэнни.

– ...на дне Большого Лосинового озера. Мертвее мертвого, – встревает Стряпуха. Ушки у нее всегда на макушке, словно у кролика, и она все слышит, даже когда думаешь, что ей не до тебя. – И пусть это послужит уроком тебе, Фрэнсис Хилл. Девчонки, что тайком гуляют с парнями, плохо кончают. Ясно тебе?

Фрэн хлопает глазами.

– Ой, миссис Хеннеси, да я без понятия, о чем вы толкуете.

Отличная актриса, ей бы на сцене играть.

– А я думаю, прекрасно ты все поняла. Где ты была две ночи тому назад? Около полуночи?

– Туточки, где же еще. Спала в своей постели.

– И не выбиралась по-тихому в «Уолдхейм» на свиданку с Эдом Компё, а?

Попалась Фрэн. Покраснела как маков цвет.

Я испугалась, что Стряпуха примется ее отчитывать, но она лишь приподнимает пальцем подбородок Фрэн и говорит:

– Если парень хочет тебя куда-то повести, вели ему зайти за тобой честь по чести или пусть вовсе не зовет. Ясно тебе?

– Да, мэм, – мямлит Фрэн, и, судя по выражению ее лица и лица Ады, внезапная снисходительность нашей Стряпухи для них такая же неожиданность, как и для меня. И уж совсем не по себе мне делается, когда я замечаю, как, направляясь к лестнице, ведущей в погреб, Стряпуха утирает глаза.

– Уивер! – орет она со ступеньки. – Ты кофий несешь или проращивать его вздумал? Живей!

Я гляжу на тонкое золотое колечко на своей левой руке, с поцарапанным опалом и двумя тусклыми гранатиками. Красивым я его никогда не считала, но мне вдруг становится радостно, очень радостно оттого, что Ройал мне его подарил. И оттого, что он всегда, приходя в «Гленмор», вызывает меня к кухонной двери у всех на виду.

Я снова берусь за ручку мороженицы, дописывая и редактируя в голове свою историю, романтическую и трагическую. Итак, Чарльз Джером и Грейс Браун полюбили друг друга. Потому-то они и приехали сюда. Они сбежали, чтобы обвенчаться, а не «тайком гулять», как выражается Стряпуха. Я вижу, как Чарльз Джером улыбается и тянется за кувшинкой, вижу, как переворачивается кверху дном лодка и как он отважно пытается спасти любимую девушку. И я уже не вижу заплаканного лица Грейс, не вижу, как дрожат ее руки, когда она вручает мне письма. Я больше не гадаю, что было в этих письмах и почему они адресованы Честеру Джиллету, а не Чарльзу Джерому. Почти уговорила себя, что, наверное, я вовсе и не слышала, как Грейс Браун называла Чарльза Джерома Честером. Наверное, мне почудилось.

Я заканчиваю историю на том, как Грейс и Чарльза хоронят в одной могиле на роскошном кладбище в Олбани: их родители корят себя за то, что встали на пути у юных влюбленных. В таком виде рассказ мне понравился. Для меня это нечто новое – история, в которой все аккуратно сходится и не остается висящих концов и нераспутанных ниток, и в итоге я чувствую умиротворение, а не сумятицу. Рассказ со счастливым концом – настолько счастли-

вым, насколько возможно, когда героиня мертва и герой, скорее всего, тоже. Та разновидность сюжета, о которой я однажды сказала мисс Уилкокс, что это ложь. И что я бы такого писать не стала.

Парадóкс

Не было на нашей ферме ничего столь же неподатливого – и тут ни громоздкий фургон для сена, ни пни на северном поле, ни валуны на дальнем лугу не идут ни в какое сравнение, – ничего и никого такого же упертого, неподвижного, непреклонного и неуступчивого, как мул Миляга. Я билась с Милягой на кукурузном поле, заставляла его тащить плуг.

– Ну же, Миляга! Пошел, Миляга! – орала я, подхлестывая его вожжами.

Он не трогался с места.

– Иди, Миляга... иди, скотина! – верещала Бет, протягивая ему кусок кленового сахара.

– Давай, мальчик, давай, мул! – звал Томми Хаббард, размахивая старой соломенной шляпой. Миляга любил их пожевать.

– Шевели жирной задницей, жопа ты эдакая! – ругалась Лу, дергая за уздечку.

Но Милягу с места не сдвинешь. Он стоял как вкопанный, только время от времени поворачивал голову и норовил укунить Лу.

– Сделай шажок, Миляга! Пожалуйста! – умоляла я.

Сухой и на редкость теплый для начала апреля день, я выбилась из сил, перемазалась, с меня капал пот. Мышцы рук болели, ладони я стерла, направляя плуг, и зла была, словно оса. Папа снова заставил меня пропустить уроки, а я так хотела в школу. Я ждала письма – того, что придет на имя мисс Уилкоккс, если вообще придет, – и больше ни о чем не могла думать. Я сказала папе, что должна пойти в школу. Сказала, что надо учить алгебру. Сказала, что мисс Уилкоккс задала нам «Потерянный рай», это нелегкое чтение, и если я пропущу день, то отстану от класса. Но папу мои слова ничуть не тронули. Он следил за приметами – в феврале не было тумана, в марте не было грома, в Страстную пятницу дул южный ветер – и был уверен, что хорошая погода устоится.

Большинство у нас начинают сажать кукурузу перед Днем поминовения, в конце мая, но папа решил сеять в середине месяца и никак не позже, а значит, уже пора было пахать. В Северных Лесах всего-то сто дней выдается без заморозков, а кукурузе надо вырасти и созреть. Папа хотел увеличить наше молочное стадо. Оставить себе телочек, если получится, не продавать их, – но как оставить, если их нечем кормить, а чтобы их кормить, нужно вырастить больше кукурузы. В тот день мне было велено вспахать два акра, и я успела пройти лишь треть, когда Миляга вздумал бить отбой. Если бы я не закончила работу, папа поинтересовался бы, с какой стати я все бросила. Прежде вспашка числилась обязанностью Лоутона, да только теперь его тут не было. Папа и сам бы сделал эту работу, если б мог, но он возился с Ромашкой – она телилась. Так что это выпало делать мне.

Я наклонилась и подобрала камень. Только замахнулась, чтобы метнуть его Миляге в зад, как позади меня чей-то голос произнес:

– Угодишь в него – напугается. Рванет, вынесет и плуг, и тебя через поле и сквозь загородку.

Я обернулась. У края поля стоял и наблюдал за мной высокий светловолосый юноша. Выше ростом, чем мне помнилось. Широкоплечий. Красивый. Самый красивый из мальчиков Лумисов. На плече у него лежало колесо от повозки, он придерживал его, просунув руку между спицами.

– Привет, Ройал, – сказала я, стараясь не сосредоточивать слишком надолго взгляд ни на одной из его черт. Ни на пшеничных волосах, ни на глазах, которые Минни считала ореховыми, но по мне они в точности совпадали оттенком с гречишным медом, ни на крошечной веснушке чуть выше рта.

– Привет.

Ферма Лумисов граничит с нашей. Она куда больше: целых девяносто акров. Поначалу она почти вся была заболочена, хуже, чем у нас, но мистер Лумис с помощью сыновей расчистил сорок акров, а мы пока только двадцать пять. Лучшую землю, из которой выкорчевали пни и камни, мы распахивали и выращивали кукурузу и сено для скота, а еще картофель – часть для себя, часть на продажу. А те места, где гнили горелые пни, и те, которые оставались каменистыми или болотистыми, папа использовал под пастбище для коров. Самые плохие участки засадили гречихой – она неприхотлива и растет почти всюду. Папа надеялся за лето расчистить еще пять акров, но без Лоутона ему было не справиться.

Ройал перевел взгляд с Миляги на меня и обратно. Опустил колесо на землю.

– Давай мне, – сказал он, отбирая у меня вожжи. – Ну, пошел! – заорал он и ловко щелкнул вожжами по крупу Миляги. Гораздо сильнее, чем щелкала я. Миляга пошел. Ого, как пошел! Томми, Бет и Лу радостно заорали, а я почувствовала себя тупой, как мешок картошки.

Ройал – второй сын в семье. Есть еще двое младше. Самый старший, Дэниел, только что обручился с Белиндой Беккер («Ферма и корм Беккеров», Олд-Фордж). «Белинда» – красивое имя. Тает во рту, как меренга, как завиток кленового сахара на снегу, когда готовишь леденцы. Не то что «Мэтт». «Мэтт» – имя отрывистое, резкое, почти мальчишеское.

Помолвка Дэна и Белинды стала у нас главной новостью. Удачная пара: Дэн работающий, а у Белинды, конечно, будет хорошее приданое. Моя тетя Джозефина говорила, что поначалу ожидалась и вторая помолвка. Говорила, Ройал запал на Марту Миллер, чей отец – пастор в Инлете, но потом ее бросил. Никто не знал, в чем дело, но тетя Джози сказала, это потому, что родители Марты – «херкимерские алмазы», а это вовсе не алмазы, а кристаллы, которые только немного похожи на алмазы, так-то им грош цена. У мистера Миллера славная пара гнедых, Марта носит красивые платья, но по счетам они не платят. Не знаю, какое отношение все это имеет к помолвке, но уж если кто и разбирается в подобных делах, так это моя тетя. Она женщина болезненная, домоседка, и ей нечем себя развлечь, только сплетнями. На любой слух она бросается, как медведица на форель в ручье.

Дэн старше Ройала всего на год, и они всегда соперничали. Будь то бейсбол, или кто соберет больше ягод, или больше нарубит дров – всякий раз старались превзойти один другого. В прошлом году я их почти не видела. Раньше я бывала у них в гостях, когда они приглашали Лоутона в поход на дальнюю рыбалку, и мы вместе ходили в школу, но и Дэн, и Ройал рано бросили учиться. Книжное знание их не привлекало.

Я наблюдала, как Ройал провел борозду, повернул в конце поля, вспахал еще ряд, возвращаясь ко мне.

– Спасибо, Ройал, – пробормотала я. – Теперь я с ним справлюсь.

– Нормально, я все доделаю. Иди за нами и убирай камни.

Я покорно пошла следом, подбирая вывернутые плугом камни и корни, складывая их в корзину, чтобы выбросить в конце поля.

– Как вы поживаете-то? – окликнул он меня спустя несколько рядов, обернувшись.

– Хорошо, – сказала я.

И тут я споткнулась и уронила корзину. Он остановился, подождал, пока я распрямлюсь, потом снова двинулся вперед. Он шел быстро, я с трудом поспевала за ним. Ройал прокладывал прямые, глубокие борозды. Куда лучше моих. Рядом с ним я чувствовала себя неуклюжей. И растерянной. *Растеклюжей.*

– Отличная земля. Черная, жирная.

Я посмотрела себе под ноги. И правда, очень темная, как влажный молотый кофе.

– Верно, – сказала я.

– Получите с нее хороший урожай. Почему ты зовешь мула Милягой? Вот уж ничего милого.

– Это парадокс, – сказала я, обрадовавшись возможности использовать слово дня.

– Чего пара? Мул-то один.

– Не пара, а пара-докс. Это противоречивое высказывание. Например, когда говорят: «Такой красивый, глазам больно смотреть». Это слово пришло из древнегреческого, оно значило «неожиданный, не такой, каким кажется». Мое слово дня. Я каждое утро выбираю в словаре слово, запоминаю и стараюсь как-то использовать. Помогает расширить словарный запас. Сейчас я читаю «Джейн Эйр» и почти все понимаю сразу, не приходится смотреть в словарь. «Парадокс» очень трудно вставить в разговор, но ты спросил, почему такой вредный мул – Миляга, – и вот оно. Идеальная возможность...

Ройал оглянулся на меня через плечо – это был суровый, прямо-таки испепеляющий взгляд, я почувствовала себя самой болтливой болтуней в округе Херкимер. Закрыла рот и попыталась угадать, о чем говорят девочки вроде Белинды Беккер и почему парни так охотно их слушают. Я знала много слов, куда больше, чем Белинда, которая время хихикала и говорила «шик», «парниша» и «устамши ужась» – но только от этих слов мне проку не было. Некоторое время я смотрела себе под ноги, на борозды, но стало скучно, и тогда я уставилась на задницу Ройала. Раньше я никогда не замечала эту часть тела у мужчин. У папы ее не было. Плоская, словно доска. Мама его даже дразнила, а он отвечал, это хозяева лесопилки так его загоняли. А у Ройала она очень славная, подумала я. Круглая, крепкая, как две булочки. И тут он обернулся, и я покраснела. Подумала, как бы поступила на моем месте Джейн Эйр, но сообразила, что Джейн Эйр, благовоспитанная англичанка, вообще не стала бы тарашиться на задницу Рочестера.

– Папаша-то твой где? – спросил Ройал.

– У Ромашки. Она телится. И Эбби тоже. То есть Эбби не телится, но тоже там.

Ох, мне бы рот наглухо зашить.

У Ройала нашлись и другие вопросы. Чем папа удобряет почву. Сколько акров собирается расчистить. Будет ли сажать этой весной картошку. А гречку будет? И не трудно ли ему одному управляться на ферме.

– Он не один. Я ему помогаю, – ответила я.

– Но ты еще школу не кончила, так? Кстати, чего ты застряла в школе? Она ж для малышни, а тебе сколько – пятнадцать?

– Шестнадцать.

– А Лоутон где? Возвратиться не думает?

– Ты колонку новостей ведешь? – вмешалась Лу.

Ройал не засмеялся. Засмеялась я. После этого он притих. Через два часа поле было вспахано полностью. Я угостила Ройала кукурузной лепешкой и налила паточного лимонада из каменного кувшина. Выдала по куску лепешки Томми, Лу и Бет.

Ройал пристально следил, как Томми жует свою порцию.

– Эти Хаббарды вечно голодные, никак брюхо не набьют. Ты чего здесь торчишь, Том? Том посмотрел на свой кусок лепешки – желтый, крошащийся у него в руках.

– Я вроде как хотел Мэтт помочь. И ее папане.

– Ты бы собственной мамаше помог вспахать поле.

– У нас нет плуга, – пробормотал Томми, и даже шея у него покраснела.

– А на кой он вам? Она завсегда найдет кого-нить, кто ей вспашет, верно говорю, Том?

– Хватит, Ройал, что ты привязался к Эмминому полю? – вступилась я.

Не нравился мне жесткий блеск его глаз – и несчастный, затравленный взгляд Томми тоже не нравился. Мальчишки Лумисы всегда задирали Хаббардов, гнали их, как свора гончих – опоссума. Лоутону не раз случалось защищать Томми от младших Лумисов.

Ройал пожал плечами, откусил кусок от своей лепешки.

– Вкуснотища, – сказал он.

Я хотела честно признаться, что лепешку испекла Эбби, но его медового цвета глаза смотрели на меня, а не на лепешку, и взгляд их смягчился – вот я и промолчала.

Ройал пристально изучал меня, склонив голову набок, и на миг мне показалось – очень странное чувство, – что сейчас он разожмет мне челюсти и проверит зубы или поднимет мою ногу и постучит по стопе, словно по копыту. Тут я услышала крик и увидела, как папа машет нам руками от хлева. Он подошел к нам, сел рядом. Я отдала ему свой стакан лимонада.

– Ромашка отелилась бычком, – сказал папа устало и улыбнулся.

Мой папа становится таким красивым, когда улыбается: глаза у него синие, как васильки, зубы белые, так и блестят. Он давно уже не улыбался, и теперь это было – как радуга после дождя. Как будто мама вот-вот развесит белье и тоже присядет рядом с нами. Как будто в любой момент из леса может выйти Лоутон с небрежно переброшенной через плечо удочкой.

Бет, Лу и Томми убежали смотреть новорожденного теленка. Папа допил лимонад, и я налила ему еще. Этот кисло-сладкий напиток пьется легче воды, когда тебе жарко и томит жажда. В него добавляется немного уксуса, имбиря и кленового сиропа.

Папа оглядел нас – Миляга распрямлен, у Ройала рубашка промокла от пота, у меня руки грязные от камней – и все понял.

– Я перед тобой в долгу, – сказал он соседу. – Пахать – работа сына, а не дочери. Я-то думал, я вырастил сына, который этим займется.

– Пап, – тихонько вставила я.

– Не пойму, с чего он уехал. Меня бы от такой земли силком не оттащили, – сказал Ройал.

Я нахмурилась. Я тоже сердилась на Лоутона за то, что он нас бросил. Но Ройал не из нашей семьи, а значит, не имел права судить моего брата. К тому же я и сама не понимала, почему Лоутон ушел из дома. Знала только, что они с папой поссорились. Я видела, как они сцепились в сарае. Дошло до кулаков, а потом папа схватился за багор. Лоутон вбежал в дом, побросал свои вещи в старый мешок из-под муки и выскочил за дверь. Я за ним. И я, и Лу, но папа нас перехватил.

– Пусть уходит.

Он встал перед нами на ступеньке.

– Но куда же он пойдет, папа? Посреди зимы! – взмолилась я. – Нельзя его так отпускать.

– Я сказал: пусть идет, куда хочет! А вы – марш в дом!

Он втолкнул нас внутрь, захлопнул дверь и запер ее, словно боялся, как бы и мы не ушли. После этого он так переменялся, что мы все как будто потеряли и отца тоже, а не только маму и брата. Несколько дней спустя я спросила его, из-за чего вышла ссора. Но вместо ответа он гневно полыхнул глазами, и я не стала больше приставать.

Папа и Ройал поговорили немного о хозяйстве, о ценах на молоко, и кто собирается обустроить новые дачи на Четвертом озере или на горе у Большого Лосинога озера, и сколько постояльцев там поместится, и о том, что спрос на сливки и масло в нынешнем сезоне взлетит до небес, и с какой стати кто-то станет покупать опивки, что доставляют сюда поездом из Ремзена, когда можно купить свежее молоко прямо здесь, на месте.

Потом Ройал подхватил свое колесо и сказал, что ему пора к Бёрнапу. Железная ступица ослабла, а из всех, кто живет поблизости, только у Джорджа Бёрнапа есть кузня. Когда он ушел, я подумала: сейчас мне достанется за то, что сидела тут с парнем и пила с ним лимонад. Но нет, папа лишь собрал упряжь Миляги и повел его в хлев, спрашивая на ходу у мула, не знает ли тот, почему у Фрэнка Лумиса четверо славных парней, а у него, у папы, – ни одного.

Летаргический

– В пантеоне великих писателей, звучных голосов, Мильтон восседает подле Шекспира, – говорила мисс Уилкоккс, расхаживая из угла в угол, и ее каблучки звонко щелкали – цок-цок – по деревянному полу. – Конечно, кто-нибудь мог бы возразить, что и Джон Донн заслуживает...

– Эй, Мэтти! Мэтти, глянь!

Я отвела взгляд от книги, которую читала на пару с Уивером, и покосилась влево. Джим и Уилл Лумисы выгуливали паука на ниточке. Пускали его ползать взад-вперед на этом поводке и хихикали как идиоты. Дрессировка всяких мелких тварей – их конек. Сначала Джим выдерживал нитку из подола своей рубашки, тщательно завязывал крошечную петельку. Потом, как только мисс Уилкоккс отворачивалась, Уилл ловил муху или паука. Хватал их проворнее, чем Ренфилд в «Дракуле» Брэма Стокера, но хоть не ел свою добычу, и на том спасибо. Он складывал руки лодочкой и тряс пленника, пока тот вконец не одурет. Дальше Уилл держал своего жука-паука, а Джим накидывал ему на голову петлю. Очнувшись, букашка становилась очередной звездой в цирке братьев Лумис. В зависимости от времени года там могли выступать и другие артисты: трехногая жаба, полумертвый рак, осиротевшая сойка или увечная белка.

Я закатила глаза. В свои шестнадцать я была уже старовата для средней школы. Обычно с ней расставались в четырнадцать лет, а многие и того не дожидались. Но наша прежняя учительница, мисс Пэрриш, перед отъездом поговорила с мисс Уилкоккс про меня и Уивера. Сказала ей, что мы достаточно способны, чтобы получить аттестат, и просто стыд и позор, что у нас нет такой возможности. Единственная на всю округу школа с выпускными классами была в Олд-Фордже – это настоящий город в десяти милях от Игл-Бэя. Слишком далеко для каждодневных прогулок туда и обратно, тем более зимой. Нам бы пришлось в будние дни ночевать там и столоваться за деньги, а этого ни Уивер, ни я позволить себе не могли. Мисс Уилкоккс обещала сама подготовить нас к экзаменам – и сдержала свое слово. Она окончила какое-то диковинное женское училище в Нью-Йорке и была по-настоящему образованной.

В ноябре она зашла к нам домой поговорить с родителями о том, как мне получить аттестат. Мама велела всем, даже папе, умыться к приходу учительницы, попросила Эбби спечь имбирное печенье, а меня послала причесать сестер. Сама она уже не могла спуститься на первый этаж, и мисс Уилкоккс пришлось подняться к ней в спальню. Что мисс Уилкоккс сказала ей, я не знаю, но после ее ухода мама позвала меня и велела непременно получить аттестат, пусть даже папа и хочет, чтобы я бросила школу.

Почти весь учебный год мы с Уивером готовились к выпускным экзаменам. Сдавать мы решили самые сложные, те, которые принимает университетская комиссия: сочинение, литературу, историю, естественные науки и математику. Особенно я боялась математики. Мисс Уилкоккс помогала нам с алгеброй изо всех сил, но сама ее не любила. Зато Уивер щелкал задания как орешки. Иногда мисс Уилкоккс отдавала ему пособие для учителя, он разбирался с задачей, а потом объяснял и ей, и мне.

Колумбийский университет – учреждение серьезное, даже грозное; чтобы поступить в него, Уиверу требовалось получить на всех экзаменах отметку не ниже А с минусом. Он усердно готовился, и я тоже, но в тот день в классе, корпя над Мильтоном, я вдруг подумала: зачем все это? Уивер получил ответ из университета еще в январе, а я – уже шла вторая неделя апреля – так и не дождалась письма.

Джим Лумис подался вперед и помахал пауком прямо у меня перед носом. Я подпрыгнула и отмахнулась, чем только порадовала озорника.

– Схлопочешь, – шепотом предупредила я и попыталась снова сосредоточиться на «Потерянном рае», но получалось плохо.

Летаргический – такое было у меня в тот день слово, и оно отлично подходило к скучной затянутой поэме: того гляди провалишься в летаргический сон. Мильтон хотел показать нам ад, говорила мисс Уилкоккс. И ему это удалось. Только ад – это не «адамантовые цепи»², про которые он писал, и не «лютый жар струй текучей серы» и не «кромешный мрак, юдоль печали». Ад – застрять на триста двадцать пятой строке первой песни, сознавая, что впереди этих песен еще одиннадцать. «Муки без конца» – они и есть. Конечно, этот класс я не променяла бы ни на какое другое место, и читать я любила больше всего на свете... но Джон Мильтон – и вправду юдоль печали. Что мисс Уилкоккс в нем нашла? Его Сатана ни чуточки не страшный. Не Князь Тьмы, а князь занудства – только и знает, что произносить бесконечные напыщенные речи.

Фьезольские высоты, Вальдарно, Валомброза... *Где, чтоб им пусто было, все эти поэтические места?* – мысленно вопрошала я. Почему бы Сатане как-нибудь не наведаться в Северные Леса? В Олд-Фордж, а то и в Игл-Бэй? Почему он не изволит выражаться, как реальные люди со всеми «ах чтоб тебя» или «к чертовой бабушке»? Почему в книгах не упоминаются городки и поселки округа Херкимер? Почему всем важны только чужие города и чужие жизни?

Луи Сеймур по прозвищу «Француз Луи» с реки Уэст-Канада-крик, знающий, как выжить в одиночку в опасных и диких местах; мистер Альфред Гуинн Вандербильдт, который живет в городе Нью-Йорке, а летом на озере Рэкетт, и который богаче Сатаны и путешествует в собственном вагоне; Эмми Хаббард с Ункас-роуд, которая спяну рисует прекраснейшие картины, а когда протрезвеет, сжигает их в печке, – все они во сто раз интереснее мне, чем мильтоновский Сатана, или вздыхающие о своих возлюбленных героини Джейн Остен, или этот пугливый дурачок у Аллана По, не нашедший лучшего места, чем собственный погреб, чтобы спрятать труп.

– А почему мы читаем Шекспира, и Мильтона, и Донна? Пусть на этот раз ответит кто-нибудь другой, не мисс Гоки. Мистер Бушар? – спросила мисс Уилкоккс.

Майк Бушар покраснел.

– Не знаю, мэ.

– Не осторожничайте, мистер Бушар. Рискните наугад.

– Потому что велено, мэ?

– Нет, мистер Бушар, потому что это классика. А нам нужно основательно знать классику, чтобы понимать произведения, которые появились позже, и чтобы преуспеть в собственных пробах пера. Изучение литературы подобно строительству дома, мистер Бушар: вы не начнете строить с третьего этажа, сначала вы заложите фундамент.

Мисс Уилкоккс приехала из Нью-Йорка. У нас тут трехэтажных домов не строят – разве только богачи вроде Беккеров или владельцы трех лесопилок, как мой дядя Вернон...

– Возможен ли Мильтон без Гомера, мистер Джеймс Лумис? И откуда взялась бы Мэри Шелли, если б не было Мильтона, мистер Уильям Лумис? Да-да, если бы не было Мильтона, не появилось бы и чудовище Франкенштейна...

Едва прозвучало это магическое имя, оба Лумиса наострили уши. Джим так разволновался, что упустил свежепойманного паука. Паук ринулся к краю парты и скрылся, волоча за собой ниточку-поводок. С ноября мисс Уилкоккс обещала нам, что завершающей книгой в учебном году станет «Франкенштейн» – при условии, что все, то есть в основном Джим и Уилл, будут себя хорошо вести. Достаточно было ей шепнуть это заклинание – «Франкенштейн», – и Лумисы становились вдруг кротки и прилежны, как два алтарника. Их восхищала сама идея сшить части трупа и воскресить его. Только и разговоров у них было о том, как наберут лягушек, жаб, разрежут, а потом снова оживят.

– Мы читаем классику, чтобы черпать вдохновение у великих умов, – продолжала мисс Уилкоккс, и вдруг послышался тихий перезвон. Снова она рассыпала свои браслеты. Эбби подо-

² Здесь и далее перевод А. Штейнберга.

брала их с пола и вернула учительнице. Мисс Уилкокс вечно что-то крутила в руках, пока читала лекцию: снимала и надевала кольца, ломала в пальцах мелок или перебрасывала браслеты с одного запястья на другое. Ничего общего с нашей прежней учительницей, мисс Пэрриш. У мисс Уилкокс были кудрявые темно-рыжие волосы и зеленые глаза – в точности изумруды, так нравилось мне думать, хотя настоящих изумрудов я никогда не видела. Она любила золотые украшения и носила очень красивые наряды – приталенные блузы, юбки из тонкой шерсти, жилетки, отделанные шелковой лентой. Так странно она смотрелась в нашем классе, где печка с ржавой плитой, деревянные стены, пожелтевшая карта мира. Как будто драгоценную жемчужину положили в старую потертую коробочку.

Помучив нас еще несколькими страницами «Потерянного рая», мисс Уилкокс закончила урок и распустила класс. Джим и Уилл Лумис ринулись прочь из школы, по дороге чуть не сбив Томми Хаббарда с ног и распевая: «Томми, Томми, нет ни крошки в доме!» Мы с Мэри Хигби собрали с парт полдюжины книг, по которым занимался наш состоявшийся из двенадцати человек класс. Эбби протерла доску, Лу спрятала грифельные таблички, на которых мы с утра решали математические задачи.

Я сложила книги на учительский стол и собралась уходить, как вдруг мисс Уилкокс мне сказала:

– Мэтти, задержись, пожалуйста, ненадолго.

Во время уроков всех нас именовали «мистер» и «мисс», но после уроков учительница обращалась к нам по имени. Я сказала Уиверу и сестрам, что догоню их по пути домой. Я думала, может быть, мисс Уилкокс принесла новую книгу почитать. Но нет. Как только все ушли, она выдвинула ящик стола, достала конверт и протянула мне. Большой, яркий. На нем было мое имя. Напечатано посреди наклейки, а не написано от руки. И обратный адрес – как только я увидела этот адрес, во рту вмиг пересохло.

– Вот, Мэтти. Держи.

Я покачала головой.

– Ну же, трусишка! – Мисс Уилкокс улыбалась, но голос ее дрожал.

Я взяла конверт. Мисс Уилкокс вытасила из сумочки шкатулку, украшенную эмалью, достала оттуда сигарету, зажгла ее. Тетя Джози говорила и мне, и моим сестрам, что мисс Уилкокс «больно уж бойкая». Бет решила, это она о том, что наша учительница слишком быстро водит свой автомобиль. Но я-то понимала, что речь о курении и о короткой стрижке.

Я уставилась на конверт, собираясь с духом, чтобы его открыть. Услышала, как снова зазвенели браслеты мисс Уилкокс. Она стояла у стола, обхватив ладонью локоть другой руки.

– Давай же, Мэтти! Открывай, бога ради!

Я глубоко вздохнула и разорвала конверт. Внутри – один-единственный листок, прикрепленный к моей помятой старой тетради для сочинений. «Уважаемая мисс Гоки, – гласил текст, – счастлива уведомить вас, что вы зачислены в колледж Барнард...»

– Мэтти?

«Вам будет предоставлена полная стипендия, достаточная для покрытия издержек на оплату обучения в первый год, при условии, что вы успешно сдадите экзамены за выпускной класс. Стипендия возобновляется ежегодно в случае, если средний балл и личное поведение остаются вполне удовлетворительными...»

– Мэтти!

«И хотя ваша академическая подготовка в некоторых аспектах недостаточна – в особенности это касается знакомства с иностранными языками, высшей математикой и химией, – ваши выдающиеся способности в области литературы компенсируют эти изъяны. Занятия начнутся в понедельник 3 сентября. Вам следует сообщить о своем прибытии куратору в субботу, 1 сентября. С вопросами о размещении вы можете обратиться к мисс Джейн Браунелл, заведующей общежитием. С наилучшими пожеланиями, декан Лора Дрейк Гилл».

– Черт побери, Мэтти! Что там написано?

Я посмотрела на учительницу – я дышать-то не могла, не то что говорить. *Тут написано, что они готовы меня принять, думала я. Колледж Барнард рад мне – мне, Мэтти Гоки с Ункас-Роуд в Игл-Бэе. Тут написано, что сама декан прочла мои рассказы и одобрила их, а не сочла мрачными и угрюмыми, и меня готовы учить профессора, настоящие профессора в длинных черных мантиях, профессора со всякими учеными степенями и званиями. Тут написано, что я умная, пусть я и не могу стронуть с места Милягу и неправильно засолила свиницу. Тут написано, что я сумею стать кем-то, если решусь, – кем-то бóльшим, чем деревенская недоучка в измазанных навозом башмаках.*

– Тут написано, что меня приняли, – выдавила я наконец. – И что мне дают стипендию. Полную стипендию. Если я не провалю экзамены.

Мисс Уилкокс испустила боевой клич и прижала меня к себе – крепко, изо всех сил. Потом сжала мои руки и поцеловала в щеку, и я увидела, как сияют ее глаза. Я не знала, почему для нее настолько важно, чтобы я поступила в университет, но была рада, что она так переживает за меня.

– Я знала, что у тебя все получится, Мэтти! Знала, что Лора Гилл распознает твой талант. Твои рассказы великолепны. Я же тебе говорила, что они замечательные! – Она покружилась на месте, глубоко затянулась сигаретой и выпустила дым. – Только представь себе! – со смехом продолжала она. – Ты будешь учиться в университете! И ты, и Уивер, вы оба! Уже осенью. В Нью-Йорке!

И как только она это сказала, как только заговорила о моей мечте вот такими словами, вывела ее на свет дня и сделала реальной, я поняла, насколько это все несбыточно. У меня есть папа, и он не позволит мне уехать. А денег нет, и нет надежды их заработать. К тому же я дала слово – и одного этого достаточно, чтобы удержать меня тут, будь у меня хоть все деньги на свете.

Когда нет другого выхода, папа сдает нескольких телят на мясо. Коровы так кричат, когда папа уводит их малышей, что я не могу находиться при этом в хлеву. Убегаю в кукурузное поле, зажав уши руками. Если вы хоть раз слышали, как мычит корова, у которой отняли теленка, то знаете, каково это: обрести что-то новое, прекрасное, дивиться ему и радоваться, а потом – лишиться. Вот что я чувствовала в ту минуту, и эти чувства, должно быть, отразились на моем лице: улыбка мисс Уилкокс внезапно погасла.

– Ты же будешь летом работать? – спросила она. – В «Гленморе»?

Я покачала головой:

– Папа не разрешил.

– Что ж, не беда. Моя сестра Аннабель предоставит тебе комнату и стол, а ты будешь помогать ей по хозяйству. У нее городской особняк в Мюррей-хилл, она живет одна, места много. Стипендия плюс Аннабель – вот тебе оплата учебы, жилье и еда. А деньги на книги, на трамвай, на одежду и прочее ты всегда сумеешь заработать. Найдешь какую-нибудь подработку – печатать на машинке, к примеру. Или пробивать покупки в супермаркете. Очень многие девушки так устраиваются.

Девушки, понимающие, что к чему, уточнила я про себя. Решительные и уверенные девицы в белых блузах и саржевых юбках, отлично разбирающиеся в печатных машинках и кассовых аппаратах. А не девушки в старых застиранных платьях и потрескавшихся башмаках.

– Да, наверное, – пробормотала я.

– А что твой отец? Он хоть немного поможет?

– Нет, мэм.

– Мэтти? Ты ему рассказала? Ведь да?

– Нет, мэм, я ничего ему не говорила.

Мисс Уилкокс кивнула – резко, решительно. Загасила сигарету, ткнув ею снизу в свой стол, а окурок спрятала в сумочку. Мисс Уилкокс знала, как не попасться на неподобающем поведении. Странный навык для учительницы.

– Я поговорю с ним, Мэтти, если захочешь. Сама ему все расскажу.

Я засмеялась – невеселый то был смех, – а потом сказала:

– Нет, мэм, не стоит – разве что вы умеете уворачиваться от багра.

Обескуражить

– Привет, Мэгги! – крикнул мистер Экклер с носа своей лодки. – Есть новенькая. Совсем новая. Только что поступила. Написала какая-то миссис Уортон. «Обитель радости» называется. Сунул ее за кофейные зерна к книгам на букву У. Там и найдешь.

– Спасибо, мистер Экклер! – ответила я, разволновавшись при мысли о новой книге. – Вы сами-то ее прочли?

– Угу. От корки до корки.

– О чем она?

– Толком и не скажешь. Какая-то легкомысленная городская девица, сама не знает, чего хочет, то одно ей подай, то другое. Не пойму, почему это называется «Обитель радости». Ни радости там, ни обители.

Фултонская плавучая обменная библиотека – это на самом деле крошечная комнатка в трюме огуречного баркаса Чарли Экклера. До настоящей библиотеки в Олд-Фордже ей далеко, но зато здесь случаются приятные сюрпризы. В этом же помещении мистер Экклер хранит свои товары, и когда наконец сдвинет ящик с чаем или мешок кукурузной муки, заранее и не знаешь, что там обнаружится. А время от времени центральная библиотека в Херкимере даже присылает нам пару новых книжек. Приятно первой взять в руки новенькую книгу. Когда страницы еще чистые, белые, и корешок не заломлен. Когда она еще пахнет словами, а не фиалковой водой миссис Хигби, жареной курятиной мамы Уивера или мазью моей тети Джози.

Баркас Экклера – плавучий бакалейный магазин, он обслуживает все дачи и отели на берегах Фултонских озер. Это единственный магазин на много миль вокруг, больше нет никаких, ни плавучих, ни обычных. Мистер Экклер отправляется на рассвете из Олд-Форджа, дальше идет по цепочке озер – Первое, Второе, Третье, затем вокруг всего Четвертого, останавливаясь у отеля «Игл-Бэй» на северном берегу и «Инлет» на восточном, – а затем возвращается в Олд-Фордж. Огуречный баркас ни с чем не спутаешь. На воде – да, по правде говоря, и на суше, – не найти ничего и близко похожего. На самом верху выставлены бидоны с молоком, на палубе корзины с фруктами и овощами, а на корме огромная бочка соленых огурцов – из-за нее баркас и зовется огуречным. В каюте – мешки с пшеничной и кукурузной мукой, сахаром, овсом и солью; корзинка яиц; банки с конфетами; бутылки меда и кленового сиропа; жестянки с корицей, мускатным орехом, перцем и содой; коробка сигар; ящик с вяленой дичью и три освинцованных сундука со льдом: один для свежего мяса, другой для рыбы, а третий для сливок и масла. Все чисто, аккуратно, закреплено каждое на своем месте, чтобы и в качку не перемешалось. Мистер Экклер продает и кое-какие другие товары, например гвозди и молотки, иголки и нитки, открытки и ручки, мазь для рук, пастилки от кашля и средство от мух.

Я ступила на борт и спустилась в трюм. «Обитель радости» действительно стояла на букву У, как и сказал мистер Экклер, рядом с «Миссис Уигс с капустной грядки» (мистер Экклер иногда путает авторов и названия). Я записала книгу в тетрадь, которую мистер Экклер держит на бочке патоки, потом еще порылась за клетью с яйцами, банкой со стеклянными шариками и коробкой сушеных фиников – но все, что там нашлось, я уже читала. Вовремя вспомнив, я купила мешок кукурузной муки нам в хозяйство. Рада была бы купить овсяной или пшеничной, но кукурузная дешевле, а хватает ее на дольше. Мне было велено купить десятифунтовый мешок. Пятидесятифунтовый стоит, конечно, дороже, но в пересчете на вес выгоднее, и я говорила об этом папе, но он ответил: чтобы таким способом экономить, нужно быть побогаче.

Я собралась уж было подниматься на палубу, но тут мне кое-что попало на глаза – ящик с толстыми тетрадами. Очень красивые тетради, с прочным переплетом, красочными завитушками на обложке и с ленточкой-закладкой. Я отложила мешок с мукой и книгу миссис

Уортон и взяла в руки тетрадь. Страницы белые, гладкие. Как было бы приятно писать на такой красивой бумаге. В моей старой тетради страницы шероховатые, разлинованы вкривь блекло-голубыми полосками, а изготовлены так небрежно, что даже виднеются опилки.

Вернувшись на палубу, я обнаружила там Ройала Лумиса. Он расплачивался за две палочки корицы, десять фунтов муки, жестянку зубного порошка и мешок гвоздей. Хмурился, глядя на растущую на прилавке грудю, дважды пересчитал сдачу и все это время не переставал жевать зубочистку.

– Привет, Ройал, – сказала я.

– Привет.

Я вручила мистеру Экклеру папины пятьдесят центов за кукурузную муку.

– Сколько она стоит? – спросила я, предъявляя красивую тетрадь для сочинений. У меня накопилось шестьдесят центов – за папоротник, что мы с Уивером продали отелю «Игл-Бэй», и за живицу, которую мы собрали и продали О’Харе в «Инлете». Эти деньги следовало отдать папе, я и собиралась их отдать, честно, только пока случай не представился.

– Тетради-то? Дорогие, Мэтти. Витальянские. По сорок пять центов штука, – ответил мистер Экклер. – Ты погоди, через неделю привезут другие, по пятнадцать.

Сорок пять центов – большие деньги, но я не хотела «другие, по пятнадцать» – теперь, когда увидела эти. У меня столько накопилось идей. Тонны идей. Рассказов, стихов. Я прикусила изнутри щеку, размышляя. Я знала, что, когда попаду в Барнард – *если* попаду в Барнард, – мне предстоит много писать, и не мешало бы начать заранее. Я вспомнила Уивера: «Слова надо пускать в ход, а не коллекционировать», и я представила себе, как слова потекут по этой прекрасной бумаге, а когда я что-то напишу, я закрою тетрадь, и они будут надежно и укромно спрятаны под обложкой. Прямо как в настоящей книге. Меня грызло чувство вины, и я поспешно достала из кармана деньги и отдала их мистеру Экклеру, чтобы дело было уже сделано и нельзя было передумать. Затаив дыхание я следила, как он заворачивает мое приобретение в коричневую бумагу и перевязывает веревочкой. Я сказала ему «спасибо», забирая покупку, но он уже отвернулся – мистер Пуллинг, наш почтальон, спросил его, почем апельсины.

Уже на причале я услышала оклик:

– Мэтти, постой!

Я обернулась.

– Да, мистер Экклер?

– Скажи папе, я буду покупать у него молоко. Места наверху маловато, и молоко заканчивается, не успеваю я добраться до Четвертого озера. Буду отдавать ему пустые бидоны и забирать четыре или пять полных. Мог бы продать больше на обратном пути, будь у меня чего продавать.

– Я скажу, мистер Экклер, но он уже обещал «Гленмору», и «Хигби», и «Уолдхейму». А еще отелю «Игл-Бэй». Его и другие просили, но он думает, столько молока у него не наберется.

Мистер Экклер сплюнул в озеро; слюна была бурой от жевательного табака.

– Какое у него нынче стадо?

– Двадцать голов.

– Всего-то? Но у него же – сколько, бишь? Шестьдесят с гаком акров? Он там мог бы куда больше держать, чем двадцать коров.

– У нас только двадцать пять акров расчищено и большая часть распахана.

– А с остальными он что делает? Тридцать пять акров пустоши фермеру ни к чему. Он же налоги платит за землю, ведь так? Платит, а землей не пользуется! Надо расчистить ее под пастбище, не бросать зря. Стадо побольше надо, вот чего!

– Он думает расчищать. *Думал*. Но потом... Когда Лоутон уехал и все такое... Ему просто... нелегко, – сказала я тихо, зная, что Ройал вслушивается в каждое слово.

Мистер Экклер кивнул. Кажется, он смутился. Он знал, что Лоутон ушел из дома. Это все знали. Он даже спрашивал меня, почему Лоутон так поступил, вот только объяснить я не могла – ни ему, ни Уиверу, ни всем прочим, кто хотел знать. Мамы с нами больше нет, потому что она умерла, – это я объяснить могла. Но теперь с нами нет и брата. Брата, который однажды потратил все, что заработал, продавая туристам наживку, на тетрадь и карандаш для меня: он застал меня ревушей в сарае, потому что папа отказался мне их купить. Лоутон бросил нас, и я даже не знала почему.

– Ну, скажи ему, чтоб заглянул потолковать со мной, Мэтт. Ройал, и ты своему па то же самое скажи. Я только что видел, как расчищают место под два новых дачных поселка на Третьем озере. Лон Вуд застраивает свой участок, «Микер» и «Фэйрвью» расширяются. С каждым днем туристов все больше, а лето еще и не началось. Если кто-то из ваших сможет поставлять мне молоко, я уж сумею его продать.

– Да, мистер Экклер, скажу, – сказала я и заспешила домой. Уроки в школе закончились час назад. Сестры вот-вот вернутся. Нужно доить коров, сгребать навоз, кормить свиней и кур, да и самим поесть надо.

За спиной раздался глухой тяжелый звук – кто-то спрыгнул с борта на причал.

– Подвезти, Мэтт? – послышался голос рядом. Ройал.

– Кого? Меня?

– Тут никого больше «Мэтт» не кличут.

– Хорошо, – сказала я, радуясь приглашению. Мешок с кукурузной мукой тяжеловат, да и домой я попаду гораздо быстрее, чем пешком.

Я сунула мешок в повозку, а сама залезла на жесткое деревянное сиденье рядом с Ройалом. На таких повозках ездят все в Северных Лесах. Все, у кого хватает здравого смысла. Новенькие приезжают в экипажах, но скоро от них отказываются. Повозки устроены очень просто: несколько планок, под ними пара осей, сверху – одно-два сиденья, можно и крытый кузов обустроить. Планки упругие, они смягчают толчки, иначе зубы того и гляди повыскакивают на ухабистой дороге.

– Н-но, пошли! – скомандовал Ройал лошадям и развернул скрипучую повозку на подъездной дорожке отеля, чтобы избежать столкновения с красивым экипажем – крыша с бахромой, – в котором парочка туристов, только что сошедшая с парохода «Клируотер», направлялась к Большому Лосиному озеру. Пара гнедых у него новенькая. Папа говорил, мистер Лумис купил их по дешевке у человека из-под Олд-Форджа, у которого банк забрал ферму. Гнедые лягались и ржали, испугавшись экипажа, но Ройал их быстро успокоил.

Он помахал рукой мистеру Сэттерли, сборщику налогов, прошагавшему мимо нас в отель. Мистер Сэттерли помахал в ответ, но без улыбки.

– Пари держу, он от Хаббардов, – сказал Ройал. – Наложит арест на их землю. Эта беспутная Эмми опять не заплатила налог.

Меня удивило, как резко он говорил. И уже не в первый раз.

– Ройал, за что ты не любишь Хаббардов? – спросила я. – Они бедные, но они же ничего дурного не делают.

Вместо ответа он фыркнул. И больше ничего не говорил, пока мы ехали по длинной дорожке отеля, мимо только что удобренного огорода и бороздчатого картофельного поля. Миновали железнодорожную станцию, пересекли рельсы, а потом и тракт – узкую грунтовую дорогу между Олд-Форджем и Инлетом. Вот что такое Игл-бэй, весь как есть: бухта на Четвертом озере, там отель, станция железной дороги, рельсы и узкий тракт. Не город. Даже не деревня. Глушь для туристов. Если только ты не живешь тут. Тогда это твой дом.

Направив гнедых в сторону Ункас-роуд, Ройал вдруг обернулся ко мне и спросил:

– Ты все еще играешь в ту игру?

– В какую?

– В твою игру. Ну, в эту ерунду со словами.

– Это не ерунда, – заспорила я. Послушать его, так мое «слово дня» – какая-то детская глупость.

– Что ли честно каждый день ищешь в словаре новое слово?

– Да.

– И чего у тебя сегодня?

– *Обескуражить*.

– Чего это значит?

– Сломить дух. Лишить мужества. Подорвать веру в себя.

– Ого. Слова у тебя прям с языка слетают. Вумная девчонка, ничего не скажешь.

«Кажный», «вумная»... Ройал говорит, как все местные парни. «Тубаретка», «дыршлаг». Мама шлепала нас, если слышала от нас «дыршлаг». Говорила, нас примут за деревенщину. И еще Ройал говорит «не, а чо», имея в виду «да». «Не, а чо», – отвечал он Лоутону, когда тот звал его на рыбалку. Я пыталась, и не раз, объяснить ему, что если он говорит «нет», то возражает Лоутону и *отказывается* идти на рыбалку, но мои лекции никакого впечатления не произвели. Спасибо, не говорит «чумадан» вместо «чемодан» и если ругает кого дурой, то хоть не «дурындой». Уже что-то.

Кивком он указал на книгу у меня на коленях.

– Чего это у тебя?

– Роман. «Обитель радости».

Он покачал головой.

– Слова да выдумки, – сказал он, сворачивая на Ункас-роуд. – И что ты в них находишь?

Зряшная трата времени, если хочешь знать мое мнение.

– Спасибо. Не хочу.

Ройал то ли не услышал мой ответ, то ли и слышать не желал. Продолжал рассуждать:

– Само собой, человеку положено уметь читать и писать, чтобы разбираться, что к чему, но сверх того – слова они и есть слова. От них дух не захватывает. Не то что от охоты или рыбалки.

– Откуда тебе знать, Ройал? Ты же не читаешь книги. От хорошей книги дух захватывает так – как ни от чего другого.

Зубочистка сдвинулась из левого угла рта в правый.

– Неужто? – спросил Ройал.

– Точно, – сказала я, чтобы положить конец спору. Так я рассчитывала.

– Угу, – буркнул он. А потом щелкнул вожжами. Резко. И рывкнул во весь голос: – Но, пошли!

Лошади зафыркали, почувствовав, что он ослабил поводья. Повозка вздрогнула и резко набрала скорость.

Я глянула на пару гнедых – молодых, сильных и норовистых – и на Ункас-роуд: бревенчатая гать, камни, ухабы да ямы.

– Мы куда-то спешим, Ройал?

Он глянул на меня – лицо серьезное, но глаза сверкают озорством.

– Я на них первый раз выехал. Знать не знаю, как они себя окажут. Но любопытно ж поглядеть, из какого они теста. Йо-хо-хо!

Лошади понеслись, до отказа натягивая упряжь. Копыта гулко застучали по бревнам. Книга миссис Уортон соскользнула у меня с колен и упала на дно повозки, за ней и моя новая тетрадь.

– Ройал, останови! – крикнула я, хватаясь за передок повозки. Нас так раскачивало и подбрасывало на изрытой дороге, что я была уверена – вот-вот кто-то из нас вылетит под ноги лошадям. Но Ройал и не думал останавливаться. Наоборот, он привстал и защелкал вожжами.

– Останови! Сейчас же! – вопила я, но он меня не слушал. Слишком был занят – орал и нахлестывал гнедых.

– Ройал, перестань! Остановись! – умоляла я.

И тут мы влетели в глубокую яму, меня сбросило с сиденья, я ударилась головой о спинку и только успела ухватить Ройала за ногу, чтобы не выпасть на дорогу. На обочине мелькнули знакомые цвета – голубой комбинезон Лу, желтое платье Бет. *Они расскажут папе*, в смятении подумала я. *Ройал сейчас погубит нас обоих, и сестры хотя бы смогут рассказать папе, как это произошло.*

Мы свернули так резко, что правые колеса на миг оторвались от земли, а потом с грохотом опустились. Я ухитрилась выпрямиться, одной рукой все еще держась за Ройала, другой цепляясь за передок повозки. Ветер растрепал мне волосы, они выбились из узла, а глаза слезились. Я оглянулась и увидела над дорогой облако пыли. Наконец – прошла, кажется, вечность – Ройал придержал лошадей, и они пошли рысью, потом шагом. Он опустился на сиденье. Лошади дергали поводья, фыркали, трясли головами, хотели еще пробежаться. Ройал заговорил с ними, шикая, цокая языком, успокаивая.

– Ого! – сказал он мне. – Чуть в канаву не вывернулись, такие дела.

А потом дотронулся до меня. Перегнулся через сиденье и прижал руку к моему сердцу. Распластал ладонь по ребрам, пальцы обхватили снизу грудь. Мгновение – перед тем как я отбросила его руку – я чувствовала, как сильно стучит в нее мое сердце.

– Моторчик тарыхтит – чуть не треснет, – засмеялся он. – Посмотрел бы я, какая книга с тобой эдакое проделает.

Дрожащими руками я собрала со дна повозки свои вещи. На обложке романа миссис Уортон появилось пятно, на корешке – вмятина. Мне хотелось ответить Ройалу умно и дерзко. Хотелось отстоять мои любимые книги, сказать ему, что «захватывает дух» и «пугает до смерти» – совсем не одно и то же, но я так разозлилась, что не могла говорить. Попыталась отдышаться, но с каждым глотком воздуха вдыхала и запах Ройала – потной кожи, накренившейся земли, лошадей. Я закрыла глаза – и все равно видела, как он стоит на сиденье, погоняя гнедых. Высокий и сильный на фоне неба. Бесшабашный. Не знающий удержу. Идеально красивый.

Я снова подумала о сегодняшнем слове. *Может ли девушка быть обескуражена парнем? Может ли он лишить ее мужества? А мозгов?*

Гамлет опять пустил слюни. Серебряные нити свисают из пасти. Он скулит, храпит, потом глубоко, с оттяжкой, рыгает. Самый мой нелюбимый гость после Номера Шесть. Я кидаю ему блинчик с блюда, которое держу в руках, и он глотает его на лету. За каждой трапезой он съедает половину жареной курицы, бифштекс и дюжину блинчиков. Он бы и дюжину дюжин проглотил, только дай.

Гамлет – пес мистера Филлипа Престона Палмера, эсквайра, адвоката из Метачена, штат Нью-Джерси. Я познакомилась с ним две недели назад, как только он приехал в отель. Войдя в столовую, он тут же загнал меня в угол и хотел поживиться беконом с блюда, которое я несла гостям. Гамлет, разумеется, не мистер Палмер.

– Он тебя не укусит, лапонька! – заорал из холла мистер Палмер. – Его кличка – Гамлет. Знаешь, почему я его так назвал?

– Нет, сэр, понятия не имею, – ответила я, чтобы не испортить ему удовольствие. Туристы ведь за этим являютя в «Гленмор» – получать удовольствие.

– Потому что он – датский дог! Настоящий датский принц! Ха-ха-ха! Поняла?

Хотела бы я сказать мистеру Палмеру, что шуточка его с бородой и довольно глупа, – а вместо этого пролепетала:

– О да, сэр! Как остроумно, сэр! – потому что кое-чему я научилась за время работы в «Гленморе», в том числе когда говорить правду, а когда лучше помолчать. Улыбкой и лестью я добилась доброго расположения мистера Палмера и теперь зарабатываю дополнительный доллар в неделю, кормя и выгуливая Гамлета. Выгуливать его надо в лесу подальше от отеля, потому что противное животное кладет кучи, что твоя пахотная лошадь.

Обычно я не радуюсь прогулке с Гамлетом после ужина, однако сегодня жду ее не дожусь: за весь вечер мне так и не удалось пробраться в погреб, письма Грейс Браун все еще лежат у меня в кармане. И вот я придумала новый способ избавиться от них, и Гамлет мне в этом поможет.

Накормив пса, я отношу тарелку обратно в кухню. Человеческий ужин закончился часом раньше. Уже смеркается. В кухне пусто, остались только Билл, мойщик посуды, и Генри, помощник повара, который одной рукой сжимает разделочный нож, а другой пытается что-то нашарить в ящике.

– Гамлет благодарит за угощение, Генри, – говорю я.

На самом деле Генри зовут Хайнрих – он немец и появился в «Гленморе» в ту же неделю, что и я.

– Печь плинчики для собака, – ворчит он. – Для того я делаю путь в Штаты? Мэтти, ты видеть моя тучилка?

Он имеет в виду точильный камень для ножей.

– Нет, Генри, извини. Не видела, – говорю я, пятясь к двери.

Сколько раз я ему повторяла: точить ножи после захода солнца – плохая примета. Но Генри мне не верит, вот я и спрятала его «тучилку». Бед у нас тут в последнее время и без того хватает, незачем новые притягивать.

– Пошли, дружок, – говорю я.

Гамлет прядает черными ушами, виляет хвостом. Я беру его поводок, висящий на ручке пустого молочного бидона. Мы сворачиваем за угол отеля, и Гамлет тут же задирает лапу у одной из колонн веранды.

– Прекрати! – возмущаюсь я, дергая поводок, но пес не сдвигается с места, основательно поливая колонну. Я озираюсь в тревоге: не заметила ли нас миссис Моррисон. Или Стряпуха. Но, к счастью, поблизости никого.

– Пошли, Гамлет! Слушайся меня, а не то! – грожу я.

Он тянет вперед. Мы пересекаем центральную лужайку и спускаемся к озеру. Я оглядываюсь через плечо. «Гленмор» ярко освещен. На веранде мелькают силуэты мужчин, кончики сигар вспыхивают, словно светлячки. А вот и женщины в белых прогулочных платьях, издали похожие на призраков.

Мы подходим к кромке воды.

– Постой, Гамлет.

Он терпеливо ждет, пока я соберу пригоршню камешков.

– Теперь пошли, – говорю я, выводя его на причал.

Пес проходит несколько шагов, цокая по доскам, потом упирается, скребет когтями. Ему не нравится, как причал слегка приподнимается и опускается на колышущейся воде.

– Пошли, дружок. Все в порядке. Посмотрим, может, найдем гагар, ты их облаешь. Ты же любишь погавкать, верно? Пошли, Гамлет... хороший пес... – уговариваю я, но он застыл, и мне приходится выложить козырь – достать из кармана остывший блинчик, и тогда пес радостно трусит за мной.

Я чувствую, как сверток писем толкается мне в бедро на ходу – напоминает, подгоняет. Скоро я избавлюсь от них. До края причала осталось всего три ярда. А там – развязать лен-

точку, запихать в верхний конверт камушки, снова связать всю пачку и бросить ее в воду. Грейс Браун не совсем об этом меня просила, но сойдет. У конца причала глубина уже двенадцать футов, дальше еще больше, а бросок у меня неплохой. Никто их никогда не отыщет.

И вот наконец я на месте. На самом краю причала. Отпускаю поводок и наступаю на него, чтобы Гамлет не убежал. Лезу в карман за письмами, но тут из темноты раздается голос:

– Поплывать собралась, Мэтт?

От испуга я вскрикиваю, роняю камешки. Смотрю вправо – а там Уивер, все еще в черной жилетке официанта, брюки закатал до колен, посиживает на причале.

– Ройал в курсе, что у тебя есть другой ухажер? – интересуется он, кивая в сторону Гамлета.

– Очень смешно, ага! Чуть сердце не разорвалось.

– Извини.

– Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я, но тут же понимаю, что ответ мне известен. Он приходит сюда каждый вечер – горевать. Мне следовало бы об этом помнить.

– Я смотрел на лодку, – отвечает он. – На ту, которую они брали покататься. «Зилфа» притащила ее обратно.

– Где она?

– Там, – он машет рукой в другой конец причала. Там действительно качается на воде ялик. Подушки со скамей исчезли, уключины пусты.

– После ужина я зашел в гостиную. Посмотреть на нее.

Сейчас он смотрит куда-то далеко, словно высматривая другой берег озера. Потом закрывает глаза, а когда открывает, щеки у него мокрые.

– Ох, Уивер, не надо, – шепчу я, поглаживая его по плечу.

Он нащупывает мою руку.

– Ненавижу это место, Мэтти, – говорит он. – Оно всё убивает.

Изнурённый

Я часто прикидывала, как обернулись бы события, если бы персонажи книги могли что-то изменить. Например, если бы у сестер Дэшвуд имелись деньги – тогда, возможно, Элинор отправилась бы путешествовать и предоставила мистеру Феррарсу дальше мямлить в гостиной. Или если бы Кэтрин Эрншо сразу вышла замуж за Хитклиффа и избавила всех от ненужных печалей. Или Гестер Прин и Димсдейл сели бы на тот корабль и уплыли подальше от Роджера Чиллингуорса. Порой я жалела этих людей, понимая, что им не вырваться из своих сюжетов, но опять-таки, если б я могла с ними заговорить, вполне вероятно, они бы велели мне заткнуть свою жалость и снисходительность куда подальше – ведь и я ничего не могла исправить в собственной судьбе.

По крайней мере, так оно выглядело в середине апреля. Прошла неделя с тех пор, как я получила письмо из Барнарда, но я ни на шаг не приблизилась к решению основной проблемы: как мне туда попасть. Понадобилось бы собрать ужас сколько папоротника и целый воз живицы, чтобы заработать на проезд, книги и, наверное, на новую блузу и юбку. *Если б я могла выращивать цыплят и жарить их для туристов, как мама Уивера, думала я, или если б мне разрешили оставлять себе деньги от продажи яиц, как разрешает Минни ее муж...*

Голубая сойка пролетела над головой, заверещала, отвлекая меня от этих мыслей. Подняв голову, я сообразила, что прошла мимо подъездной дорожки к «Клифф-Хаусу» на Четвертом озере и приближаюсь к повороту, откуда недалеко до жилья моей подруги Минни Симмс. Точнее, Минни Компё. Я всё еще путала. Я расправила слегка поникший букетик фиалок – я собрала их для Минни. Хотела ее подбодрить. До рождения ребенка оставался всего месяц, и Минни все время была усталой и слезливой. Усталой, слезливой и *изнуренной*.

Изнуренный – мое слово дня, оно означает «усталый, истощенный, обессилевший». Изнурить человека может болезнь, тяжкий труд или горе, а также недостаток пищи. Основное значение глагола «изнурять» – «истощать», но родственно ему и прилагательное «понурий», то есть «печальный». И в слове «изнуренный» присутствуют оба эти смысла, и печаль, и голод, как будто оно унаследовало черты своих родителей, как новорожденные котят Фиялки, живущей в хлеву, похожи и на свою прирученную мать, и на дикого котяру по прозвищу Тень.

На полпути по боковой дорожке – разбитой грунтовке, местами замощенной бревнами, а то и вовсе бы не пройти – показался дом Минни. Это бревенчатая однокомнатная хижина, муж Минни Джим построил ее из деревьев, которые сам свалил. Она бы предпочла жить в доме, обшитом досками, побеленном и с красными обводами вокруг окон, но на это нужны деньги, а денег у них особо не имеется. Доски, встык уложенные в грязь, позволяли подойти к крыльцу. На переднем дворе торчали обгорелые пни срубленных деревьев – черные, неровные, как зубы старика. Позади хижины Джим расчистил участок под овощи и огородил пастбище для овец и коров. Земля их граничила с северным берегом Четвертого озера, и они надеялись, когда расчистят больше акров и построят дом получше, принимать постояльцев.

Джим любит повторять, что мы сидим на золотой жиле: мол, в наших местах любой мужчина с парой крепких рук и капелькой честолюбия сумеет сколотить состояние. Папа говорил то же самое, да и мистер Лумис. А все потому, что миссис Коллис П. Хантингтон, чей муж владеет дачами «Пайн-Нот» на озере Рэкетт, отличается деликатным сложением и в особенности чувствительная у нее задница.

Раньше всякий, кому требовалось попасть на Четвертое озеро, ехал с Центрального вокзала до Ютики, там пересаживался на поезд до Олд-Форджа, потом на пароходе плыл по Фултонской цепочке озер, минуя их одно за другим, пока не добирался до Четвертого, а оттуда предстояла долгая поездка на повозке до озера Рэкетт или же до Большого Лосиноного – но все изменилось, когда мистер Хантингтон захотел привезти миссис Хантингтон на свою

новую дачу. Путешествие показалось ей настолько утомительным, что она предложила мужу на выбор: либо построить железную дорогу и доставлять семью напрямую из Игл-Бэя в «Пайн-Нот» – либо проводить лето в одиночестве.

Мистер Хантингтон неплохо разбирается в железных дорогах, именно он построил ту, что тянется от Нового Орлеана до Сан-Франциско; у него есть богатые друзья, любящие отдыхать неподалеку, и они поддержали его план. Все вместе они добились одобрения от властей штата, заявив, что железная дорога принесет процветание в этот бедный сельский край, и вот, шесть лет назад, тут проехал первый поезд. Папа отвез нас на повозке полюбоваться этим зрелищем. Эбби заплакала, когда поезд остановился на станции, а Лоутон заплакал, когда поезд двинулся дальше. Вскоре проложили линию Мохок-и-Мэлоун, которая идет из Олд-Форджа не на восток, а на север. Рабочие прорубили в лесах просеки, чтобы доставлять рельсы и шпалы. Благодаря этим широким просекам люди вроде мистера Сперри смогли построить отели прямо в лесу. Появились туристы, и вот Игл-Бэй, Инлет, Большое Лосиное озеро уже не только деревни фермеров и рыбаков, но и модные летние курорты, где горожане спасаются от жары и шума.

И отель «Игл-Бэй», и «Гленмор» оснастили паровым отоплением, канализацией, телеграфом и даже телефонами. Неделя проживания обходится от двенадцати долларов до двадцати пяти. Постояльцы едят суп из лобстера, пьют шампанское и танцуют под музыку целого оркестра – но школы в Игл-Бэе как не было, так и нет. И почты, и церкви, и универсального магазина. Железные дороги принесли процветание, однако задерживаться в наших краях процветание не пожелало: как только наступает День труда, оно собирает вещи и отбывает вместе с туристами, а мы остаемся и считаем, что нам повезло, если с мая по август, продавая молоко или жареных цыплят, прислуживая за столом или стирая постельное белье, мы сумели заработать на прокорм себе и скоту до конца долгой зимы.

Я ступила на дорожку к хижине Минни, на ходу нащупывая в кармане письмо из Барнарда. Я специально взяла его, чтобы ей показать. Уиверу я письмо уже показала, и он сказал, я должна ехать – во что бы то ни стало. Сказал, надо горы свернуть, победить все трудности, преодолеть все препятствия, сделать невозможное. Кажется, он чересчур увлекся «Графом Монте-Кристо».

Мне хотелось услышать, что Минни скажет насчет Барнарда. Минни ведь очень умная. Она сшила себе свадебное платье из теткиных обносок, и я сама видела, как она переделала свое обтерханное шерстяное пальто в красивую модную вещь. Если существует способ промыслить из ничего билет до Нью-Йорка, Минни такой способ отыщет. А еще я хотела ее спросить про обещания – считает ли она, что дав слово, надо выполнить все строго так, как было сказано, или все-таки можно кое-что изменить и подправить.

Мне столько всего хотелось рассказать Минни! Я подумала даже, что, возможно, и о поездке с Ройалом расскажу. Но в тот день я не рассказала ей ни о чем, потому что еще с дощатой дорожки услышала крик. Ужасный вопль страха и боли. Он донесся изнутри, из дома.

– Минни! – взвизгнула я, уронив букет. – Минни, что случилось?

В ответ – лишь глухой, протяжный стон. Кто-то убивает Минни, догадалась я. Взбежала на крыльцо, схватила полено из дровяника и ворвалась в хижину, готовая разбить голову злодею.

– Брось полено! Совсем сдурела! – окликнул меня сзади женский голос.

Но не успела я обернуться и понять, кто это мне приказывает, как снова раздался тот жуткий вопль. Я глянула в дальний угол и увидела мою подругу. Она лежала в постели, мокрая от пота, выгибалась всем телом, тяжело дыша, и вскрикивала.

– Минни! Минни, что случилось? Что с тобой?

– Ничего особенного. Она рождает, – сообщил тот же голос у меня за спиной.

Наконец я обернулась и увидела дюжую светловолосую женщину, помешивавшую тряпки в котле с кипящей водой. Миссис Криго. Повитуха.

Рожает. Рожает ребенка. У Минни вот-вот появится младенец.

– Но она... еще же рано, – пробормотала я. – Всего восемь месяцев. Целый месяц до срока. Доктор Уоллес говорил, что остался еще месяц.

– Значит, доктор Уолле еще дурее тебя.

– Ты печку надумала топить, Мэтт? – прошуршал слабый голос.

Я снова обернулась. Минни смотрела на меня и смеялась, и только тут я сообразила, что все еще замахваюсь поленом.

Смех Минни тут же сменился стоном, и на ее лице снова проступил страх. Я видела, как она извивается, как обеими руками мнет простыни, как глаза ее выпучиваются в ужасе.

– О, Мэтти, меня на куски порвет! – прохныкала она.

Я захныкала от жалости к ней, и так мы ныли на пару, пока миссис Криго не прикрикнула на обеих нас, обозвав безмозглыми и бесполезными девчонками. Она поставила котел с прокипяченными тряпками ближе к постели, рядом с табуретом для дойки, отняла полено и подтолкнула меня к Минни.

– Раз уж пришла, так хоть поможешь, – сказала она. – Давай, надо ее усадить.

Но Минни садиться не хотела. Так и сказала: ни за что. Миссис Криго залезла в постель позади нее и стала толкать, а я тащила на себя, и совместными усилиями нам удалось приподнять Минни, и она свесила ноги с кровати. Ночная рубашка задралась до бедер, но Минни, казалось, было на это наплевать. Минни, такой застенчивой, что она отказывалась переодеться при мне, когда у нас гостила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.